

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ISSN 0132-1366

№

11

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
· ВЕДЕНИЕ

6
2010



«НАУКА»



СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ



2010

НОЯБРЬ •

ДЕКАБРЬ •

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

Содержание

СТАТЬИ

<i>Лескинен М.В.</i> (Москва). Великороссы/великорусы в российской научной публицистике (1840–1890)	3
<i>Керимова М.М.</i> (Москва). Этнографические изыскания М.Н. Харузина (к 150-летию со дня рождения)	18
<i>Янышкова И.</i> (Брно). Лингвистическое наследие Вацлава Махека	27
<i>Ристич Ст.</i> (Белград). Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка	33
Из словаря «Славянские древности»	41

СООБЩЕНИЯ

<i>Вишневецкий Г.</i> (Варшава). М.А. Балакирев и Ф. Шопен	56
<i>Якименко О.А.</i> (Санкт-Петербург) Чехов в венгерской театральной культуре. История и современность	63
<i>Королева П.В.</i> (Москва). Модификация жанра авторской волшебной сказки в современной чешской литературе	71

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Стыкалин А.С.</i> Т. Мераи. 13 дней. Имре Надь и венгерская революция 1956 года	79
<i>Валева Е.Л.</i> До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства (Центральная и Юго-Восточная Европа первой трети XX в.)	83
<i>Досталь М.Ю.</i> Учені Росії про Закарпаття: Из карпатознавчої спадщини	86
<i>Тунин А.Е.</i> Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration	89
<i>Мельников Г.П.</i> И.И. Свирида. Метаморфозы в пространстве культуры	92
<i>Мельников Г.П.</i> Художественные центры Австро-Венгрии. 1867–1918	94
<i>Хорев В.А.</i> Польское искусство и литература. От символизма к авангарду	99
<i>Белова О.В.</i> Традиційная мастацкая культура беларусаў; Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе; Т. 2. Віцебскае Падзвінне; Т. 3. Гродзенскае Панямонне; Т. 4. Брэсцкае Палессе	102

<i>Ржанникова О.А.</i> Л.Э. Калнынъ, Т.В. Попова. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации	105
<i>Плетнева А.А., Кравецкий А.Г.</i> Р.С. Баић. Богослужбени језик у Српској православној цркви: прошлост, савремено стање, перспективе	110
<i>Ченцова В.Г.</i> Δ. Σταματόπουλος. Το Βυζάντιο μετά το Έθνος. Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες	112

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Гришина Р.П.</i> Конференция «Человек на Балканах глазами русских»	115
<i>Сератионова Е.П.</i> Научная конференция «Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX века. К 65-летию Великой Победы»	119

ЮБИЛЕИ

К юбилею Владилена Николаевича Виноградова	121
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 2010 году	123

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

М.А. РОБИНСОН (главный редактор),
Г.К. ВЕНЕДИКТОВ, Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, К.В. НИКИФОРОВ, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
Л.А. СОФРОНОВА, А.С. СТЫКАЛИН, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.С. Стыкалин (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *И.Е. Адельгейм* (отдел литературоведения),
О.В. Белова (отдел культурологии),
А.С. Стыкалин (отдел истории)

Зав. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Л.А. Авакова, Е.В. Пономарева, И.Ю. Веслова*

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а,
Телефон 8-495-938-01-20
E-mail: zhurslav@mail.ru

Рукописи принимаются в электронном виде с распечаткой (1 экз.) объемом: статьи не более 40 тыс. знаков, сообщения – до 30 тыс., рецензии – до 20 тыс. знаков. Статьи и сообщения должны сопровождаться краткой аннотацией (200–300 знаков) на русском и английском языках и ключевыми словами (5–7 слов).

Научный аппарат должен быть оформлен в соответствии с правилами, принятыми в журнале. Правила оформления см. на сайте: <http://inslav.ru>. Авторы должны предоставить сведения о степени, должности, электронную почту и контактный телефон.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.



© 2010 г. М.В. ЛЕСКИНЕН

ВЕЛИКОРОССЫ/ВЕЛИКОРУСЫ В РОССИЙСКОЙ
НАУЧНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ (1840–1890)

Задачей работы является анализ интерпретаций понятий *Великая Россия* (*Великороссия*) и *великороссы* (*великорусы*) в российской географической и этнографической литературе 1840–1890 гг., трактовка и научное обоснование которых осуществлялась в ходе конструирования отличий от малорусса и белоруса, определяя способы репрезентации «своего» мира и национального пространства Российской империи.

The task of the article is to analyse the intention and interpretation of concepts *Velikaya Rossia* and *velikorossy* in Russian geography and ethnology at 1840–1890. The image of *velikoross* (*velikoros*) have been detailed in process of constructing of Ukrainian (Malorussian) and Belorussian national projects, defined ways of representations of *own* space and state.

Ключевые слова: российская наука второй половины XIX в., формирование нации, этнокультурные стереотипы, конструирование этничности.

Вопрос о происхождении этнонима *великороссы* (*великороссияне*, *великорусы*) имеет длительную историю и эволюцию. На начальном этапе, когда в научной литературе только начали складываться представления о границах регионов Великой, Малой, Белой, Черной, Червонной Руси (России) (в конце XVII–XVIII в.), данное наименование использовалось в качестве термина, обозначающего население Великой России (Великороссии). На протяжении XVIII–XIX вв. понятие подвергалось уточнению, а его содержание варьировалось и дифференцировалось, будучи связанным, во-первых, с формированием концепта «русскости» как выражения национального облика и характера русского народа (в его крестьянской, «простонародной» и внесловной – «имперской» ипостасях) и, во-вторых, с поисками этнокультурного своеобразия каждого из трех «племен» («отраслей») восточнославянского населения России – великорусов, малорусов и белорусов.

В конце XVIII – первой половине XIX в. понятие *великоросс* не подвергалось специальному рассмотрению, оно не вычленялось из общего контекста размышлений о «русскости»; гораздо более занимал исследователей вопрос о землях, входящих в состав Великой, Малой, Белой, Червонной и пр. России. Но в процессе формирования этнографической науки в России, начиная с середины XIX столетия, определился круг значений этнонимов и представлений, связанных с конкретными характеристиками великорусов как этнокультурной общности «единого русского народа». Основные тенденции этого процесса и формы репрезентации мы и попытаемся проанализировать.

Великая Россия как геополитическое пространство. Одним из исследователей, зафиксировавших область дефиниций термина и его бытование в научной литературе XIX в., стал Н.И. Надеждин. В работах 1840-х годов, посвященных

Лескинен Мария Войттовна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

этногеографической номенклатуре, он подробно рассмотрел происхождение понятия *Великая Россия*. Этот вопрос интересовал многих русских историков и географов конца XVIII – начала XIX в., они предлагали различные этимологические версии, из которых следует упомянуть две: отождествление Великой Руси с новгородским и псковским княжествами, а Белой Руси – с землями Московского государства (В.Н. Татищев) и утвердившуюся к концу XVIII в. гипотезу о том, что под Великой Россией следует понимать северно-восточные области европейской России с владимирско-московским центром (географы Просвещения).

Надеждин не был оригинален в своих построениях, он придерживался второго варианта трактовки, но более четко разделил историческое, географическое и этнографическое значения термина, а также определил «узкий» (ядро) и «широкий» ареалы данного региона, наименование которого считал возможным использовать не только для обозначения историко-географической области России, но и в качестве административно-структурной единицы [1. С. 261–264]. Надеждин соглашался с предшественниками, что термин появляется «не ранее половины XVI в.» [1. С. 261] и был заимствован из византийских источников, обозначавших различие между Малой и Великой Русью (Руссией, позже Россией) по аналогии с Малой и Великой Грецией как землями метрополии и колонии. Он настаивал на «искусственном», т.е. «ученом» происхождении понятия, которое поэтому и «не имеет ходу в народе, а остается [...] книжным» [1. С. 263]. Важно утверждение автора, что «до сих пор не говорится и не пишется “Великая Русь”, “великоруссы” и “великорусский”, но “Великая Россия”, “великороссияне”, “великороссийский”» [1. С. 263] – поскольку уже начиная с 1860-х годов в литературе и публицистике все перечисленные этнонимы функционируют в качестве синонимов, что приводит к синонимизации лексем «русский» и «великорусский» («русский» и «великорус»).

Пространство Великой России определялось автором как «важнейшая часть, сердце Российской империи» [1. С. 261]. «Географическое значение» понятия Надеждин реконструировал, опираясь на факты политической истории, отождествляя Великую Россию с владениями, унаследованными царем Алексеем Михайловичем «под именем Московского государства», однако это не означает, что автор идентифицировал Московское государство XVII в. с Великороссией. Разбирая этапы расширения Великой России в процессе присоединения новых земель, Н.И. Надеждин рассмотрел изменение границ региона. Наиболее противоречивой его позицию по этому вопросу делает различение «Великой России» и «великороссийских губерний». По петровскому «гражданскому разделению» северные области империи со столицей Санкт-Петербургом и Новгородскими землями включались в состав «Великороссийской генерал-губернии» (в то время как Белорусской генерал-губернией – в соответствии с бытовавшими вплоть до середины XVIII в. представлениями о тождественности Белой и Московской Руси – именовались центральные регионы вокруг Москвы и Смоленск) [2. С. 116–119]. Великороссийские губернии «в современном значении» Надеждин считал более корректным ограничить границами Московского княжения 1462 г. (т.е. до восшествия на престол Ивана III). Это пространство можно определить как «узкий состав» или *исторический центр* великорусской области – иными словами, можно говорить о ядре Великой России, поскольку уже в конце правления Василия III (1533 г.) под его властью объединились земли Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, увеличив государство почти вдвое. Когда Надеждин указывал, что вполне возможно отождествить территорию Великой России с десятью современными губерниями (Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Костромской, Псковской и Новгородской), он включал в нее области, вошедшие в состав Московского царства позже 1462 года [3], т.е. предлагал более широкое толкование термина. В этом перечне важно отметить соединение двух исторических областей Руси –

Северо-Западной (Новгород и Псков) и Северо-Восточной (земель, входивших в состав Владимиро-Суздальского княжества); самым важным критерием их включения в Великороссию оставалась политическая значимость – там протекали процессы государствообразования и национальной консолидации на разных этапах.

Наиболее сложный вопрос – о том, какие губернии Российской империи первой четверти XIX в. представляли собой «великоросские» в точном, административном, смысле, Надеждин оставил без ответа, поскольку считал его не очень значимым – «совершенно произвольным», отмечая, впрочем, что «простой народ» называет их «просто Россией» [1. С. 263]. Значительное количество неточных и описательных определений объясняется тем, что гораздо более важным, нежели географическое, Надеждин полагал «этнографическое значение» региона – в том смысле, что именно население этого пространства сформировало особую разновидность не только русского народа в целом, но и его главной – великорусской – «отрасли», которая, в свою очередь, сыграла основополагающую роль в создании и укреплении царства, а потом и империи. Именно это обстоятельство дало ему основание утверждать, что «Российское государство, Российская империя обросло вокруг одного основного ядра, где география имеет чисто русскую физиономию, где должна быть коренная русская земля. Ядро это находится в Европейской России» [4. С. 39]. Как видим, речь идет не о *великороссийском*, а о *русском* ядре. Метафоры «корня» и «ядра» оказались весьма устойчивыми в определении данного региона и этнической группы в многочисленных проектах географо-экономического районирования, разрабатывавшихся во второй половине века [5; 6]; принцип выделения двух кругов вокруг главного великорусского ядра, обоснованный Надеждиным, также получил развитие.

Одной из неоднозначно трактуемых проблем представляется соотношение так называемой внутренней России и Великороссии. К областям внутренней европейской России географ К.И. Арсеньев (1848 г.) относил земли от среднего течения Волги до верховьев Хопра, Донца, Оки и Десны, которые входили в состав 13 губерний: Московской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской и Тульской. Окраинные регионы, населенные великорусами, но находящиеся в зоне смешанного этнического населения или присоединенные позже, к этой области не относились (Санкт-Петербургская, Новгородская, Казанская и Смоленская губернии) [7]. При этом Арсеньев не включил в перечень областей «внутренней России», именуемой им «великим кругом», те губернии, которые отдалены в географическом отношении и которые были упомянуты Надеждиным в расширенном составе губерний «Великой России»: Новгород, Псков, губернии Олонецкая, Пензенская, Вологодская и Смоленская. В учебнике географии 1863 г. в «российской империи собственно», отделенной от Царства Польского и Великое княжество Финляндское, «великороссийскими» именуется «внутренние губернии около Москвы, лежащие на Оке и Верхней Волге», – в отличие от «низовых», находящихся по нижнему течению Волги и «входящих прежде в состав татарских царств» [8. С. 99]. Таким образом, с незначительными изменениями в составе земель Великороссии остаются те же губернии, что и у Н.И. Надеждина, и у К. Арсеньева: соседние с Москвой и включающие верхневолжский регион.

Следует согласиться с современными исследователями, предполагающими, что, начиная с первой трети века, «внутренняя Россия» мыслилась как часть Великороссии, но ее территория трактовалась «весьма расширительно» [9. С. 202–203], и – добавим – описательно. Обобщая некоторые тенденции словоупотребления, можно полагать, что именно этот регион можно рассматривать как геополитическое, историческое и этнографическое «ядро» империи, сердцем которого однозначно виделась Москва. Употребляли этот термин русские историки

так называемой государственной школы, исходя в первую очередь из процесса государствообразования на землях Северо-Восточной Руси [10. С. 59–67], и географы [11; 12]. Впрочем, понятия пространственное (геополитическое) «ядро» или «внутренняя Россия» не были нормативными вплоть до 1880-х годов, однако часто именно они становились критерием для выделения русского национально-го типа, точнее, его «племенного ядра» – «этого исхода нашей национальности, расходящейся во все стороны» [13. С. 11].

К середине столетия существовало две версии состава великорусских земель: первая относилась к ним область формирования ядра московского государства (северо-восточные княжества), и иногда «верхневолжские территории», а вторая трактовала их расширительно, присовокупляя к ним Новгородскую и Псковскую земли. Такая интерпретация влияла на понимание великороссов как этнической группы в составе единого русского народа.

Великоросс в этнографической номенклатуре. Надеждин справедливо считается основоположником российской этнографии: он детально разработал предметное поле, методы и программу этнографических исследований – прежде всего «русских народов» империи. Определяя характерные черты великороссов как одной из трех «ветвей» единого этноса, он настаивал на том, что главным способом их выявления должно служить сравнение с малороссами и белорусами по ряду параметров. Сопоставление «географического значения» термина *великороссы* и его этнографического содержания привело Надеждина к заключению, что они не соответствуют друг другу, так как Великая Россия населена представителями многочисленных народов и племен, а великорусы, в свою очередь, населяют и земли за ее пределами. Он полагал также, что именно этнографический смысл понятия (т. е. само слово *великороссы*) гораздо более употребителен, нежели географический [1. С. 265]. Именно Надеждин зафиксировал главные отличительные свойства великорусского этноса, хотя подчеркивал, что его отличия малороссийского «оттенка» общерусской народности не является столь значимым, чтобы можно было говорить о том, «будто это не один русский народ, а две отдельные народности» [14. С. 102].

На этапе складывания языка и методов этнографических исследований в эпоху Просвещения устойчивый комплекс этнодифференцирующих признаков был установлен лишь для так называемых диких народов [15. Гл. 1]. Не вызывали сомнений, в частности, такие элементы этнической принадлежности, как язык, этноним, внешние черты и нрав. Однако Надеждин, предлагая детальную программу этнографического описания русских, оказался перед сложной проблемой выявления «отраслевых» особенностей родственных народов, весьма схожих по всем указанным признакам. Даже этнонимы – наименования *великоросс*, *малоросс* и *белорус* не были самоназваниями, а лингвистика на том этапе еще не сформировала точных дефиниций и иерархии языков, наречий и поднаречий – в этой области дискуссии продолжались вплоть до конца столетия [16; 17; 18]. На практике «опознать» язык или наречие исследуемых этнических групп представлялось очень сложной задачей, так как при непосредственном контакте с информантом решение об этом полностью зависело от знаний и убеждений наблюдателя – ученого или волонтера – особенно когда речь шла о родственных языковых группах.

Внешние черты (физические различия) обрели точные параметры определения лишь с развитием антропометрических методов в антропологии – в 1870–1880-х годах, и только характер или психология различных русских «отраслей» выделялись на основании анализа фольклорных текстов, «материального и общественного быта». Но весь комплекс этнических отличий родственных народов складывался в процессе установления региональных особенностей европейских славян или «русских народов» империи. Взаимосвязь между природным ландшафтом, естественными ресурсами и «физиономией» народа понималась как причинно-

следственная, поэтому именно географический (ландшафтный), а не этнографический подход оказался определяющим.

Фиксация, в частности, ареала проживания великорусов на этнографических картах империи, составляемых начиная с 1840-х годов, показывает, что его место – как, впрочем, и других народов, – обозначить было довольно трудно. Сведения об этническом составе империи на протяжении XVIII–XIX вв. базировались лишь на косвенных признаках: например, результаты ревизских переписей (начиная с 1717 г.) позволяли обнаружить соответствие между сословными группами и вероисповеданиями или между социальными и этническими группами на основании наиболее типичных или количественно преобладающих случаев. Например, однодворцы – «чаще всего» великороссы, а «войсковые обыватели, казаки, подусудки и посполитые» – малороссы, колонисты – немцы, ясачные – инородцы и т. п. [19. С. 135]. С введением вопроса о родном языке показатель родного языка населения превратился в признак этнического происхождения [20. С. 7]. Но и результаты наиболее научно обоснованной переписи 1897 г. [21] также трудно считать репрезентативными: с учетом погрешностей, связанных с методами и практикой осуществления опроса, а также с нормами определения родного языка, можно лишь с некоторой долей уверенности установить соответствие между языком и этнической принадлежностью. В сущности, все зависело от того, как сами интервьюеры и опрашиваемые представляли себе разницу между тремя «языками» или «наречиями» русских – при условии, что вообще рассматривали их как этнокультурный маркер. Это доказывает, что первичным критерием определения региона или области как великорусской вплоть до конца столетия оставалось представление о «своей» исконной территории – т.е. доминировала каузальная атрибуция.

В середине века определились основные научные тенденции фиксации племенных типов трех главных этнических групп «русского народа», в которых главным предметом спора оказался вопрос о времени и причинах появления различий «единой» русской этнической общности. Для С.М. Соловьева и В.О. Ключевского представлялось бесспорным, что малорусское и великорусское племена – ветви русского народа [22. С. 25; 23. С. 289; 24. С. 295]; но в отличие от Н.И. Костомарова они связывали разделение на две «отрасли» в этнографическом отношении прежде всего с природными и антропологическими факторами, а именно: со славяно-финской метисацией в великорусском регионе и с изменившимися географическими условиями бытования переселенцев с юга [22. С. 289; 24. С. 296]. И Соловьев, и Ключевский утверждали, что племенная и политическая консолидация шли рука об руку и объединение великороссии в единое целое вызвано формированием государства. Именно создание самодержавной государственности стало важным фактором единения великорусской «отрасли» в самобытную этнокультурную группу – с особенностями быта, «духовной культуры», общественного и семейного быта и нрава (характера) народа.

Начиная с Н.И. Надеждина отличительные признаки и свойства великорусов и конкретные черты их характера отмечались в нескольких ракурсах: а) как результат влияния природной среды, б) с учетом исторических и этнических процессов взаимодействия с иными племенами и культурами, в) с точки зрения особенностей характера народа, сформировавшихся, как полагали, под влиянием геоклиматических условий; г) в сопоставлении с соседними и родственными народами славянской группы – в особенности с малороссиянами. Характеристика через сравнение была принципиальным методологическим требованием Надеждина, поэтому именно отличительные свойства и качества он трактовал как главные признаки этноса. С появлением его программной работы принцип выявления великорусских качеств через сравнение с малороссийскими свойствами оказался наиболее плодотворным. Именно в этом ключе была сформулирована несколько

отличная от надеждинской позиция в отношении конкретных свойств малороссов и великороссов, принадлежащая Н.И. Костомарову.

В его статье «Две русские народности» (1861) понятие народности использовалось в том смысле, которое придавали ей Н.И. Надеждин и К.Д. Кавелин – как «особые черты народа», выражающие его этнокультурную «физиономию». У Костомарова характеристика включала описание следующих элементов – «духовный состав, степень чувства, его приемы или склад ума, направление воли, взгляд на жизнь духовную и общественную, все, что образует нрав и характер народа» [25. С. 52]. Сравнивая по этим параметрам две русские ветви, историк пришел к выводу, что они демонстрируют столь явное несходство, что можно оценивать их как две самостоятельные народности, а не «отрасли» единой общности (одного этноса).

В этой работе, названной Д. Дорошенко «евангелием украинского национализма», Костомаров противопоставлял не только северную (великорусскую) и южную (малороссийскую или южнорусскую) группы русской народности, но и выделял отдельно новгородский ее вариант, который он описывал как типологически близкий малорусскому и отличающийся от московского типа (сформировавшегося в удельный период истории Северо-Восточных земель). В историческом очерке русских земель историк указывал на ряд обстоятельств, изначально способствовавших их разделению, находящих воплощение в отношениях личности и власти, в традициях религиозной и умственной жизни, в повседневном быту, народном творчестве и т.п. Вполне очевидно, что в качестве самобытных этнических черт великорусов указываются те, которые в наибольшей степени демонстрируют не близость, но расхождение между двумя народностями. Среди них общественное устройство, где личный произвол, демократические традиции и свобода подавляются державным началом («перевес общинности»). Православие, по мнению Костомарова, укрепляло идею монархизма и единодержавия, одной из важнейших «склонностей» которого было расширение территории. Особенностью великорусской религиозности он называл акцент на внешней обрядности, «формульности» веры, нетерпимость к чужим религиозным традициям, национальное высокомерие. Историк пытался определить такую трудно улавливаемую черту исторического бытия народа России, как «материальность»: приземленность его духа, практицизм («господство практического рассудка, умеющего выстоять трудные обстоятельства, уловить время, когда следует действовать, и воспользоваться им насколько нужно» [25. С. 72]). «Наклонность к материализму» проявляется в таких чертах нрава, как бедность эмоциональной жизни и скудость воображения, наиболее яркими проявлениями которых – и такая зависимость усматривалась авторами многих фольклористических исследований середины века – является народное творчество. Во второй половине столетия редкий этнографический очерк о великорусах, малорусах или русских в целом не включал бы выводов и примеров Костомарова, его сравнительная характеристика малорусов и великорусов вошла в учебники, в научную литературу и в энциклопедические издания о Малороссии.

Костомаров, М.А. Максимович и другие, рассуждая вполне в русле надеждинских заветов, расходились и с ним, и с другими русскими учеными лишь в исследовательской установке: они рассматривали отличительные признаки и свойства малороссов и великороссов как сформировавшиеся весьма длительным и раздельным историческим существованием, что позволяло трактовать их в качестве равнозначных этнонациональных единиц в этнографической «таблице» империи. Поэтому статья Н.И. Костомарова о двух русских народностях, написанная для журнала «Основа», была воспринята как украинофильская (см. [26. Гл. 2]), в то время как главные параметры отличий и конкретные проявления их в характере великороссов и малорусов не ставились под сомнение – ведь схожие с костомаровскими описания великороссов содержались в работах К.Д. Кавелина

[27], в «Истории России» С.М. Соловьева [10. С. 72–73], в лекциях В.О. Ключевского [24], а также в исследованиях народной поэзии и песенного творчества этих народов.

Великорусский характер. Нрав (характер) народа рассматривался наукой XVIII–XIX вв. как один из основных этнодифференцирующих признаков. Главными свойствами великорусов, как уже указывалось, считались качества, зафиксированные исследователями в процессе сравнения. Великорусы в этнографических очерках предстают в весьма позитивном свете: их отличает внешняя красота и «ладность» [28. С. 4], присущая, впрочем, многим славянам (и отличающая их от, чаще всего оцениваемых как весьма некрасивых, инородцев). Земледельческая деятельность, которая остается главным занятием великорусов, определяет и такие хорошо изученные свойства патриархального уклада, общие для всех славянских народов как радушие, гостеприимство и покладистость [29. С. 4–6; 30. С. 3–6; 31. С. 230–234; 32; 33. С. 1–3; 34. С. 9]. Как и других славян, их отличают «удаль и сметливость, находчивость и беззаботность, покорность судьбе и привязанность к родному углу» [28. С. 4]. Однако одним из существенных отличий от родственных племен выделялся зачастую более холодный нрав и более рациональный склад ума, выработанные суровой северной природой, борьбой со стихиями и влиянием инородческого населения, которые воспринимались как чуждые эмоциональной напряженности, лиричности и сердечности не только малорусов, но и поляков [28. С. 5; 34. С. 1–3]. Еще одной особенностью великорусов считался уже упоминавшийся «практицизм» (и в творчестве, и общественной жизни, и в хозяйственной «хватке»), – в отличие от идеализма, развивающего «духовную сторону жизни» малоруса, воплощенную в богатой поэтической традиции [33. С. 277].

Великорусы выступают как обладатели некоторых позитивно оцениваемых психических черт нрава, имеющих влияние на социальное поведение: уклончивость, гибкость, «способность применяться к каким угодно обстоятельствам», в том числе и неблагоприятным. Эти и порожденные ими качества («уживчивость и подвижность») позволяют им легко осваивать новые пространства и виды деятельности, перенимать у соседних народов умения и навыки [29. С. 4–6]. Одним из проявлений гибкости видится умение варьировать виды хозяйственной деятельности: скудное земледелие становится стимулом для развития отходничества и развития промыслов. Другим ее следствием признаны умственные способности великоруса, в частности его понятливость (быстро учится новому, например, мастерству), а также сметливость и находчивость, что определяет успехи на ниве торговли и промышленности. Именно этими чертами объясняется освоение великорусами обширнейших территорий с различными климатическими условиями и ресурсами [31. С. 4].

Важной чертой великорусского этноса является, по мнению авторов, наличие заметных инвариантов этнокультурных типов, видов хозяйственной и промысловой деятельности. Великорусы населяют значительные территории империи, условия которых весьма существенно разнятся – даже в границах Европейской России, что порождает неизбежные в этом случае разновидности характера великоросса: например, «скудость почв» и «отсутствие заработков» может сделать его диковатым и бестолковым, и, напротив, «в бойких местах», «вблизи хороших путей» в город он является «удальим и даже разбитным» [31. С. 4–5]. Два последние качества, как впрочем, и хитрость («где нужно»), оцениваются как позитивные.

К негативным чертам племени относится «откровенность до болтливости» [31. С. 4], а также легкость, с какой его представители «поддаются соблазнам и искушению». Беспечность, множество предрассудков и страсть к спиртному объясняется состоянием необразованности, «доходящей иногда до крайнего невежества» [29. С. 5], что отдаляет великоруса от нравственных норм и устоев, приводя к перерождению достоинств в неискоренимые пороки: «удаль обраща-

ется в буйных разгул», а сметливость и ловкость развиваются «в безнравственном направлении» [29. С. 5].

В целом великорус характеризовался сочетанием весьма различных, зачастую противоречивых качеств, но их набор свидетельствует о том, что он рассматривался как наиболее последовательно воплощающий в себе свойства народов «северных» (по отношению к малороссам), а также наиболее подвергшийся дурному влиянию цивилизации (города).

Проблема «великорусской крови». Следующим по значимости признаком определения великорусской этнической принадлежности служили черты физического облика, которые также следовало обнаружить в сравнении. Однако еще до антропологических исследований наиболее подробно была разработана расово-племенная концепция происхождения региональных этнических вариантов русского народа. Весьма распространенной теорией, объясняющей различие двух русских «ветвей», стало объяснение его процессом метисации северо-западных славян с другими этническими группами, которому не подвергалось «южнорусское» население – поскольку в науке доминировала идея о наследственной передаче ряда этнических признаков – таких, как внешний облик, характер народа и некоторые склонности (в общественных формах и быту). Несмотря на то, что сам факт смешения славянской и финской крови в великорусах не ставился под сомнение, он довольно часто становился отправной точкой для полемики вокруг оценки его результата. Известно, что некоторые польские и украинские историки усматривали в этом истоки «порчи» славянского типа: славяне подверглись столь сильному воздействию со стороны финских племен, что их европейская принадлежность может быть поставлена под сомнение (в то время господствовала теория азиатского происхождения финно-угорских народов). Так проблема этногенеза оказалась весьма тесно связанной с вопросом о способностях и перспективах развития великорусского племени.

Впрочем, возникновение подобных версий было вызвано и чисто научными теоретическими спорами о значимости факторов, воздействующих на облик, характер, политические традиции и цивилизационный потенциал племен (народов). Неоднозначно интерпретировались процессы, происходящие с этносами в связи с изменениями окружающего природного пространства (в случае переселения или сокращения ресурсов) или политического подчинения и утраты независимости, а также в случае ассимиляционных процессов. Некоторые ученые считали, что «от одного изменения среды еще нельзя ожидать изменения и племенного типа, хотя это изменение почувствуется непременно в известных представителях в известной степени» [35. С. 45], и полагали «смешение крови», т. е. метисацию, более значимым видом воздействия на этнические свойства, поскольку она существенно ускоряет вероятные изменения физического типа и характера. Однако когда в российских этнографических очерках описывался процесс образования великорусов в процессе смешения славян и финно-угров, он не оценивался как негативный, напротив, подчеркивалась устойчивость и витальная «крепость» получившегося племенного типа, являющаяся признаком «силы» [33. С. XIII–XIV; 36. С. XXII–XXIV]. Предполагалось, что этнические врожденные недостатки в смешении компенсируются: если, например, «финну недостает ума, чтобы направить волю», то возникший при смешении его со славянским началом великорус обретает, «впитав в себя финскую душу», «через нее ту тягучесть и выдержку, ту уступчивость и силу воли, какой не доставало его предку-славянину» [31. С. 253]. Соединение славянского «живого чувства и тонкой отзывчивости» с финской волей дало прекрасный в этническом отношении результат: «получился цельный нравственный образ, более совершенный в психическом смысле, чем составные части, из которых он сложился» [31. С. 253].

«Патриотически» настроенные авторы, напротив, ассимиляцию расценивали как утрату народности (в значении этнической самобытности): «Только *слабоум-*

ные и слабодушные люди подчиняются чужому» [33. С. XIV], поэтому категорически не принимали теорию метисации как убедительное «расовое» (т.е. антропологическое) основание для разделения малорусов и великорусов. Интересно, что несогласие в этом случае аргументировалось следующим образом: отвергая гипотезу происхождения великорусов от смешения славян с финно-тюркскими племенами, они требовали «уравнять» два племени в степени утраты православной «славянской чистоты» (малорусы контактировали с тюркскими народами и с поляками) [37. С. 7–8]. Но даже если принять такое «уравнивание», оно не могло разрешить проблему: ведь поляки и финны наделялись принципиально разным цивилизационным «статусом» в этническом отношении. Поляки расценивались как цивилизованный и европейский народ, в то время как финский этнос находился в этой классификации в порубежном состоянии: уйдя от дикости, полностью к цивилизованности он еще не приблизился; «финская кровь» великорусов легко становилась обоснованием некоторых черт их патриархальной «дикости» [15. Гл. 7–1].

Поэтому многие российские историки доказывали, что процесс метисации шел «в обратном направлении» – через обрусение финских племен¹. С.В. Ешевский утверждал, что процесс обрусения был естественным: «Не вымирают инородные племена, сталкиваясь с русскими: они претворяются в русских, принимая в себя отличительные особенности европейско-христианской цивилизации, и в то же время оказывая свою долю участия в образовании нового племенного типа [...] Не славяне обращаются в финна или монгола, но финн и монгол принимают на себя господствующие черты славянского племени» [38. С. 97]. Такая аргументация постоянно воспроизводилась во многих исторических сочинениях, и не только славянофильских. В 1860–1870-е годы появилось большое количество научных работ, посвященных проблеме племенного смешения славянских и финно-угорских племен – в том числе и в связи с обострением «польского вопроса». В этом контексте проблема этнической близости малорусов и великорусов виделась в русле изучения этногенеза великорусского племени, при этом никто не отрицал «вереницу разноплеменных смешений», в результате которой оно сложилось, но вариантов было несколько.

Существовала также концепция «переработки» всех этих антропологических воздействий «туземных финских и пришлых славянских племен, и частью скандинавского племени» [40. С. 33]. Однако в более поздней работе И.Д. Беляев доказывал, что ни эти, ни другие племена (даже финские) не находились «в сродстве с русскими», а главными жителями русского государства всегда оставались «чистые славяне», и возводил великорусов к новгородцам или ильменским славянам, которым и принадлежала заслуга колонизации восточных территорий и «ославянивания здешних робких и полудиких старожилов». С призыванием Рюрика к этим колонизаторам прибавились и варяги, а в результате составилось «одно цельное племя варяго-русско-новгородское». С присоединением новых уделов все новые этнические элементы принимали участие в формировании «самостоятельного чисто русского типа великорусского племени», «гнездом» которого стал Ростово-Суздальский край. Этот тип, по мнению Беляева, является представителем «племени всероссийского» [41. С. 201–205]. Данная позиция не оригинальна: в ней нашли отражение главные тенденции трактовки ареала и времени возникновения великорусского типа, сложившиеся еще в середине XVIII в., но Беляев рассматривал его в качестве «чистого» всероссийского (русского) этнографического типа, из чего делал вывод о неизбежном соединении всех восточнославянских народов в составе единого государства всероссийского. Ключевский усматривал воздействие финского («чудского») элемента во внешнем облике,

¹Этой позиции придерживались крупнейшие антропологи и этнографы – финские и русские, такие, как М.А. Кастрен, А.И. Шегрен, А. Алквист, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин и др. О понимании глагола «обрусеть» и «обрусить» у В.И. Даля и современной ему публицистике см. [38. С. 61].

говоре, обычаях и нраве великорусов – т.е. во всех «физических и нравственных особенностях» племени [24. С. 299–303]. Некоторые исследователи, исходя из этого, настаивали, что великорусов как антропологического типа, вследствие смешения, не существует вовсе [42. С. 133–134].

В поисках великорусского этнического типа. Эта дискуссия заострила вопрос о том, являются ли русские жители европейского России или «великорусского Севера» (точные границы региона были условными, но в общем непременно включали те земли Великороссии, которые относились к северной ее части в «широком» смысле – т.е. Новгородской, Псковской, Олонецкой и отчасти Вологодской губерний) носителями типа на том основании, что воплощают «чистую», наименее «замутненную» финскими, южнорусскими или тюркскими этническими примесями этническую группу (зачастую признаками особой «чистоты» считались высокий рост и внешняя красота славянского облика [43. С. 28]) – при этом с традициями самой ранней государственности времен Рюрика, или же характерным примером истинного («настоящего») великоруса является славяно-финский племенной субстрат, консолидировавшийся в период складывания московской государственности.

Этнограф и антрополог И.Д. Беляев, задавшись вопросом о том, какое сословие считать наиболее чистым носителем великорусского типа, пришел к заключению, что «крестьянское сословие вообще, несмотря на его великорусский характер, мудрено признать представителем чистоты великорусского типа в этнографическом отношении», а в наибольшей чистоте он сохранился в «коренных горожанах старых русских городов и в тех крестьянских общинах, которых прикрепление к земле застало в местностях давно обруселых» [40. С. 43]. Несоответствие типичного национального характера этническому типу можно считать весьма распространенным заключением подобных размышлений. Однако в этнографических исследованиях доминировала сложившаяся еще в 1830-е годы и объявленная бесспорной в период популярности в обществе народнических идей убежденность в том, что только крестьянское сословие воплощает характерные особенности этнического и антропологического (расового) типа в полной мере.

Не останавливаясь подробно на том, как решалась проблема великорусского типа (одна из наиболее спорных в теоретическом отношении) в организационно-научном изучении и в популярных репрезентациях [15. Гл. 3; 44. Гл. 6], проиллюстрируем варианты его «конструирования» на примере дискуссий, вызванных организацией и проведением Этнографической выставки в Москве (1867 г.) [45. С. 3]. В инструкциях для фотографов и художников была дана жесткая установка на различение типичного и идеального, которая стала методологической. Делалась попытка сформулировать определение типичного: «При выборе лица [...] должно руководствоваться типичностью их, понимая под этим такие лица, которые в данном племени и данной местности встречаются чаще других. В тех случаях, где художник затрудняется выбором лица, то было бы желательно, чтобы преимущественно он пользовался лицами крестьян и купеческого сословия и сельского духовенства» [45. С. 13]. Здесь физический тип (лица) понимался как наиболее распространенный комплекс различных антропологических параметров, а в социальном отношении, устроители, как видим, руководствовались мнением, обоснованным Беляевым.

Уже в процессе исполнения этих задач возникли проблемы. С.В. Максимов так объяснял возникшие трудности в выполнении фигур великорусов: «Племя это отличается именно тем, что в нем трудно находить одно лицо, похожее на другое [...] Едва ли только не говор один до сих пор может почитаться в числе общих особых примет» [45. С. 74–75]. Здесь указан основной способ выявления типичного – вычленение сходных черт внешнего облика через сопоставление региональных инвариантов. Но в случае с великорусами этот метод не представлялось возможным реализовать. Был, однако, и другой путь: принять за великорус-

ский тип носителя наиболее характерного облика, населяющего земли региона, именуемого великорусским, исходя из того, что они в физическом отношении в наибольшей степени сохранили признаки, свойственные предкам на начальной стадии формирования: т.е. когда смешение финских и славянских племен уже произошло. Кроме того, среди населения этого района (как утверждал Максимов, ссылаясь на карту П.И. Кеппена, оно преобладает на пространстве всей европейской России к северу от Оки) инородцы составляют «ничтожную примесь». Такой позиции, в частности, придерживался в работе начала 1860-х историк С.В. Ешевский. Он «избрал» «лучшим представителем» чистого великорусского типа жителей Московской, Ярославской, Владимирской, отчасти Костромской губерний [39. С. 96–97].

Экспозиция великорусского племени вызвала более всего споров в обсуждении выставки (см. [46]). Некоторые сторонники патриотического направления восприняли теоретические сложности как идеологический просчет. Так, М.Н. Катков с негодованием отмечал непривлекательность предложенного организаторами-учеными облика великорусов. Он полагал, что экспозиция должна доказывать и наглядно демонстрировать посетителям в первую очередь способности и свойства, позволившие «главному племени» Российской империи создать собственную государственность и исполнять цивилизаторскую миссию в отношении других народов. Катков резко критиковал «физиономию», одежду, сами бытовые сценки, в которых находились фигуры, обвиняя организаторов в «самоуничижении», усматривая в аутентичности некоторых предметов излишний натурализм [47. С. 214]. Не удовлетворил М.Н. Каткова внешний облик великорусов: «Ни одного, решительно ни одного красивого женского лица из числа по крайней мере 30 собранных здесь женских экземпляров!» [47. С. 215]. Эта критика примечательна еще и потому, что она иллюстрирует научные принципы выявления типического: именно женщины считались многими антропологами наиболее характерными носителями антропологического типа, а внешняя красота – признаком антропологической «чистоты».

Антрополог А. Богданов вспоминал о прямо противоположных катковским требованиям «красоты» как достоверности. В 1867 г. им был составлен антропологический альбом русских, экспонировавшийся на той же Этнографической выставке. «Цель, – как вспоминал Богданов, – выставления [...] и передачи [...] этого альбома была та, чтобы вызвать мнения о физиономии русских. Портреты я старался собирать без какой-либо предвзятой идеи, отыскивая с одной стороны те лица, кои мне казались наиболее подходящими к *обыкновенно признаваемым* за более чисто русские, а с другой те, кои *наиболее часто* (выделено мной. – М.Л.) встречаются, хотя и носят следы инородческой помеси» [42. С. 133–134]. Критерием выбора типа для антрополога, таким образом, стала частотность и такое в высшей степени неопределенное свойство облика, которое все же выделялось ученым в качестве приемлемого критерия – *общепризнанность* его в качестве национального типа («обыкновенно признавать» его чисто русским).

«Некоторые русские и иностранцы [...] – продолжал А.П. Богданов, – упрекнули меня за предвзятый выбор особенно хороших лиц и за тенденциозную красоту материала, хотя в альбоме сняты были исключительно крестьяне, и как сказано, в различных видоизменениях физиономического типа [...] это были представители наиболее часто встречающихся типов, самых обыденных физиономий» [42. С. 134]. Современники полагали, что истинный этнический тип (что важно отметить – одновременно и социальный – т. е. крестьянский) не мог быть воплощен в «образцовом» виде. Такое неприятие демонстрирует значимую тенденцию периода формирования любой этнокультурной идентичности: выработку обобщенного образа «своего», который, воплощаясь в этническом типе, в равной мере репрезентировал бы внесословный тип, – т. е. внешний облик нациеобразующего этноса во всех его вариациях, в том числе и сословных.

А.П. Богданов предложил (в ироничной форме) описание реальной великорусской внешности, лишенной налета идеала, и отвечающий существующим предубеждениям: «Вероятно, я не был бы подвергнут упреку от подобных ценителей, если бы выбрал исключительно представителями физиономий для своего альбома лиц с узкими лбами, с носом в форме луковицы, с лукавою и глупою физиономией» [42. С. 134]. Некоторые внерациональные основания для выявления типа А.П. Богданов, впрочем, считал естественными общепринятыми и не расценивал их как ненаучные: «Подмечая ряд подобных определений русской физиономии (русак, типично русское лицо) [...] можно убедиться, что не нечто фантастическое, а реальное лежит в этом общем выражении “русская физиономия, русская красота” [...] В каждом из нас существует довольно определенное понятие о русском типе [...]» [42. С. 133–134]. Такое «интуитивное» выявление «своего» фиксирует не только взаимосвязь обыденных и научных стереотипов при определении «этнического», но и важную составляющую этнического самосознания, сегодня вполне научно обоснованную – чувство эмпатии в отношении к представителям собственной группы и эмоциональной привязанности к родной земле.

Иначе говоря, дилемма заключалась в том, как выбирать репрезентативные образцы: это лучшие представители (в двух значениях: обладающие наиболее ярко выраженными общими чертами или наиболее привлекательными) или «средние» (сконструированные несколько искусственно), т. е. наиболее распространенные типы. Вопрос имел значение и для определения (или «избрания») типичного национального пейзажа, наиболее характерных – национальных – явлений культуры и искусства, стилей в широком смысле, и, конечно, национального характера.

Своеобразным подведением итогов процесса определения великоруса в науке XIX в. можно считать статью Д.Н. Анучина (1892), в которой он обобщил главные тенденции в российской историографии и критически оценил методы представителей разных дисциплин [16. С. 828]. Сам Анучин разделял версию о единстве всех восточнославянских племен и относил к великорусам русских по происхождению, населявших «старинные» земли Московской (Северо-Восточной) Руси – «тверитян», «суздальцев», «москвичей». Фиксируя разнообразие великорусского типа в различных отношениях, антрополог склонялся к тому, что используемые, начиная с Надеждина, способы определения этнокультурного своеобразия великороссов вполне обоснованы и результативны, а существующие описания великорусских этнокультурных особенностей основаны на вполне доказательных научных исследованиях. Анучин пришел к заключению, что и в лингвистическом, и в антропологическом отношении великорусское племя (как и малорусское) испытало влияние языка и крови тех народов, с которыми в той или иной степени происходило смешение, но это, по его мнению, не помешало им сохранить и свой язык, и свою «народность» (т. е. этнокультурную самобытность) [16. С. 829]. Главный же вывод антрополога состоит в том, что разнообразие природных условий и племенных влияний делает невозможным определение великорусского типа, который «далеко не такой простой и однородный, как это прежде полагали, а представляющий многие характерные областные и местные вариации, но вместе с тем и сохраняющий некоторые существенные, коренные черты, которые он не утрачивает даже в наиболее отдаленных от центра местах» [16. С. 843].

Стоит подчеркнуть и еще одну значимую тенденцию в научных и публицистических работах XIX в. о Великороссии и великорусах, восходящую, впрочем, еще к XVIII в.: употребление этнонимов *русский* и *великорус* в качестве синонимов – ставшее абсолютно доминирующим в советской историографии, в том числе и в историко-этнографическом дискурсе. Но если в нем такое отождествление стало нормативным, то в научных сочинениях пореформенного периода термин «русские» постоянно используется в двух значениях: как наименование восточ-

нославянской группы и как название одной из трех этнографических «отраслей», поэтому даже в официальных данных содержание можно выяснить лишь с помощью лексического и контекстуального анализа. Причину такой терминологической нечеткости, на наш взгляд, следует искать в идеологических обоснованиях нациеобразующей роли русских и великорусов как одного или различных субъектов процесса формирования «единого русского народа», консолидированного прежде всего благодаря самодержавной государственности.

Рассуждения этнографов и антропологов о великорусском типе в 1860–1890-е годы отражают не только теоретические дискуссии о национальном с точки зрения конкретных научных данных, но и наиболее характерные тенденции в поисках «чистого» великоруса. Аучин утверждал, что единство этнографического типа «русских» в антропологическом отношении представляет собой «ряд типов, распространяющихся за пределы русской территории и вообще не зависящих от политических и историко-культурных условий» [48. С. 137–138]. Поэтому до конца столетия так и не была выработана окончательная версия регионального типа, «назначенного» истинным выразителем этничности. Ни один из них, видимо, не обладал четко зафиксированными признаками и свойствами, которые требовалось знать для характеристики этноса в целом: пространственная локализация, климатические условия, особенности говора, черты нрава, «материальная» и «духовная» жизнь. Геоклиматическое разнообразие, широта распространения антропологического великорусского типа, его этническая и культурная вариативность чрезвычайно затрудняли определение таких качеств, которые можно было бы отнести к этносу в целом. На роль типичного русского во второй половине столетия в разных концепциях «русскости» претендовали многие региональные группы: бедствовавшие в 1860–1880 гг. великорусы Нечерноземья, крестьяне «средних черноземных» губерний, жители Московской промышленной области (ярославцы и костромичи) или волжского региона, Русского Севера и др. Следует подчеркнуть, что главным основанием такого выбора в процессе нациестроительства – и это было общей чертой европейского процесса «конструирования наций» вначале становился природно-географический фактор [49; 50; 51]: необходимо было определить типичный ландшафт – «эмоционально окрашенный образ пространственного единства» [52. С. 59], локализовать его на карте страны и лишь затем выявить степень чистоты или число представителей великорусского этноса – поскольку вплоть до конца столетия господствовали идеи географического детерминизма, согласно которым именно ландшафт определяет этнокультурную самобытность человеческих сообществ.

В целом механизм выбора такой национально-репрезентативной области можно определить как универсальный в процессе формирования национальной идентификации в Европе XIX в. [53–58]. Особенностью российского варианта, на наш взгляд, можно считать две основные тенденции: 1) значимость вопроса о славяно-финской этнокультурной метисации; 2) методологические и идеологические сложности выбора наиболее характерного этнорегионального типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Н.Н. Великая Россия // Энциклопедический лексикон / Под ред. Н.И. Греча и О.И. Сенковского. В 17-ти т. (неокончено). СПб., 1834–1841. Т. IX. СПб., 1837.*
2. *Татищев В.Н. Руссия или как ныне зовут, Россия // Татищев В.Н. Избр. труды по географии России. М., 1956.*
3. *Территория // Настольный энциклопедический словарь 1899 г. о России. СПб., 1899.*
4. *Надеждин Н.И. Опыт исторической географии русского мира. Статья первая // Библиотека для чтения. 1837. Т. XXII. Отдел 3.*
5. *Россия. Экономический отдел. Деление России на районы по естественным и экономическим признакам // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона В XLI т. (82 полут.) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. LIV. П/т. 27а. СПб., 1899.*
6. *Никитин Н.П. Исторический обзор развития отечественной экономической географии // Отечественные экономико-географы XVIII–XX вв. М., 1957.*

7. *Арсеньев К.* Статистические очерки России. СПб., 1848.
8. *Белоха П.* Учебник географии Российской империи. СПб., 1863.
9. *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия на ментальных картах имперского пространства // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004.
10. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Сочинения в 18-ти кн. М., 1988–1995. Кн. I. Т. 1. М., 1988.
11. *Ловягин А.М.* Отечествоведение. Природные условия, народное хозяйство, духовная культура и государственный строй Российской империи. Опыт учебной книги. СПб., 1901.
12. *Лесгафт Э.* Отечествоведение. Курс среднеучебных заведений. СПб., 1907.
13. *Риттих А.Ф.* Первая лекция // *Риттих А.Ф.* Четыре лекции по русской этнографии. СПб., 1895.
14. *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской // Записки Русского географического Общества. 1847. Кн. 2.
15. *Лескинен М.В.* Поляки и русские в российской науке второй половины XIX века: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010.
16. *Великоруссы* // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. Т. Va (п/т. 10). СПб., 1892.
17. *Седов В.В.* История изучения проблемы древнерусской народности // *Седов В.В.* Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999.
18. *Трубачев О.Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 2005.
19. *Кептен П.И.* Девятая ревизия о числе жителей в России в 1854 г. СПб., 1857.
20. *Кабузан В.М.* Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав. М., 1990.
21. Таблица XIII. Распределение населения по родному языку // Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Общий свод. Краткие общие сведения / Под ред. Н.А. Тройницкого. В 2-х т. СПб., 1905. Т. II. Общий свод по империи результатов обработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г.
22. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Сочинения в 18-ти кн. М., 1988–1995. Кн. VII. Т. 13. М., 1991.
23. *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVI // *Ключевский В.О.* Собр. соч. В 9-ти т. М., 1987–1990. Т. I. М., 1987.
24. *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII // *Ключевский В.О.* Собр. соч. В 9-ти т. М., 1987. Т. I.
25. *Костомаров Н.И.* Две русские народности // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова. В 20-ти т. СПб., 1863. Т. 1.
26. *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.
27. *Кавелин К.Д.* Мысли и замечания о русской истории // Сочинения К.Д. Кавелина. В 4-х т. СПб., 1897. Т. 1.
28. Славянское племя. Великоруссы (очерк цикла «Народы России. Этнографические очерки») // Природа и люди. Иллюстрированный журнал для семейного чтения. 1878. № 1.
29. *Мостовский М.* Этнографические очерки России. М., 1874.
30. *Кюн К.* Народы России. М., 1888.
31. *Сикорский И.А.* Данные из антропологии // Русская расовая теория до 1917 года. Сборник оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева. В 2-х вып. М., 2004. Вып. 1.
32. *Сикорский И.А.* Черты из психологии славян. Речь, произнесенная профессором И.А. Сикорским в торжественном заседании славянского благотворительного Общества 14 мая 1895 года. Киев, 1895.
33. Руководство к изучению русской земли и ее народонаселения. По лекциям М. Владимирского-Буданова составил и издал преподаватель географии во Владимирской Киевской военной гимназии А. Редров. Киев, 1867.
34. *Талько-Грынецевич Ю.* Поляки. Антропологический очерк // Русский антропологический журнал. 1901. № 1.
35. *Ешевский С.* Этнографические этюды. Введение в курс всеобщей истории. СПб., 1862.
36. Речь, сказанная господином С. Соловьевым по случаю этнографической выставки в Москве // Руководство к изучению русской земли и ее народонаселения. По лекциям М. Владимирского-Буданова составил и издал преподаватель географии во Владимирской Киевской военной гимназии А. Редров. Киев, 1867.
37. *Риттих А.Ф.* Этнографические очерки Харьковской губернии. Харьков, 1892.
38. *Миллер А.И.* Русификация или русификации? // *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006.
39. *Ешевский С.В.* О значении рас в истории (1862) // Русская расовая теория до 1917 года. Сборник оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева. В 2-х вып. М., 2004. Вып. 1. Русская расовая теория до 1917 года.
40. *Беляев И.Д.* Как образовалось великорусское племя и какое сословие принять представителем великорусского племенного типа? // Известия ОЛЕАЭ при Императорском Московском университете. Антропологическое отделение. М., 1865. Т. I.

41. *Беляев И.Д.* О великорусском племени // Русская расовая теория до 1917 года. Сборник оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева. В 2-х вып. М., 2004. Вып. 1.
42. *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика (1878) // Русская расовая теория до 1917 года. Сборник оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева. В 2-х вып. М., 2004. Вып. 1.
43. Русские народы. Наброски пером и карандашом / Тексты под ред. проф. Н.Б. Зографа. М., 1894. Ч. I. Европейская Россия.
44. *Могильнер М.* Homo Imperii. История физической антропологии в России. М., 2008.
45. Всероссийская этнографическая выставка, устроенная Императорским обществом любителей естествознания, состоящим при Московском университете в 1867 году. М., 1867.
46. *Найт Н.* Империя на просмотре: этнографическая выставка и концептуализация человеческого разнообразия в пореформенной России // Власть и наука, ученые и власть. Материалы международного научного colloquium. СПб., 2003.
47. *Катков М.Н.* Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867. М., 1897.
48. Россия. Население. Россия в антропологическом отношении // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона В XLI т. (82-х полут.) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1899. Т. LIV. П/т 27а.
49. *Ely Ch.* This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. 2002.
50. *Кузнецов И.М.* Исследования символов в системе национального самосознания. К постановке проблемы // Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994.
51. *Деготь Е.* Пространственные коды «русскости» в искусстве XIX века // Отечественные записки. 2002. № 6.
52. *Филиппов А.* Гетеротопология родных просторов // Отечественные записки. 2002. № 6.
53. *Mallki L.* National geographic, the rooting of peoples and the territorization of national identity among scholars and refugees // Cultural Anthropology. 1992. № 7/1.
54. *Withers Ch. W. J.* Geography, Science and National Identity: Scotland since 1520. Cambridge, 2001.
55. *Tolz V.* Russia: Inventing the Nation. Oxford; New York, 2001. Part 3.
56. *Häyrynen M.* Landscape Imagery defining the national space // Suomalainen Maisema. Maisemantutkimuksen näkökulmia (the Finnish Landscape. Perspectives on Landscape Research). Helsinki, 2002.
57. *Rosander G.* The «nationalization» of Dalecardia. How a special province became a national symbol of Sweden // Tradition and Cultural Identity / Ed. by L. Honko. Turku, 1988.
58. *Honko L.* Studies on Tradition and Cultural Identity // Tradition and Cultural Identity / Ed. by L. Honko. Turku, 1988.



© 2010 г. М.М. КЕРИМОВА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ М.Н. ХАРУЗИНА (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В основе работ М.Н. Харузина в области юридического быта народностей Российской империи, истории и этнографии донского казачества лежали полевые материалы и архивные документы, собранные им во время поездок и экспедиций, связанных с работой секретаря Этнографического отдела ИОЛЕАЭ. Харузин опирался на концепции московских славянофилов, с которыми был лично знаком.

M.N. Kharuzin's works concerning the juridical life of Russian empire's peoples and the Don Cossacks history and ethnography, were based on the field materials and archival documents which he collected during his personal trips and expeditions, when he worked as a secretary of Ethnographic Department of the Imperial Society of Amateurs of Natural Sciences, Archeology and Ethnography. Kharuzin bolstered himself with concepts of the Moscow Slavophiles with whom he kept up friendly relations.

Ключевые слова: история российской этнографии, славянофильство, М.Н. Харузин

Уникальность семьи Харузиных состоит в том, что три брата: Михаил Николаевич (1859–1888), Алексей Николаевич (1864–1932), Николай Николаевич (1865–1900) и их сестра Вера Николаевна (1866–1931) – выходцы из богатого купеческого рода, решили посвятить свою жизнь служению науке и внесли огромный вклад в становление и развитие этнографии, антропологии, юриспруденции и истории в России (подробнее о семье Харузиных см. [1]).

Главой этой замечательной семьи был Николай Иванович Харузин (1831–1880). Рано оставшись сиротой, он из Сибири приехал в Москву, где продолжил дело своего отца – занялся торговлей текстилем. В 1873 г. он получил звание купца 1 гильдии. Женился Николай Иванович на купеческой дочери Марии Михайловне Милютиной. Харузины дружили с Алексеями, Боткиными, Прохоровыми, Щукиными. Это «новое» купечество второй половины XIX в., было устремлено к искусству и наукам, занималось благотворительностью и меценатством. Большое значение придавалось родителями обучению детей, Вера закончила с золотой медалью лучшую в Москве женскую гимназию С.Н. Фишер, братья (кроме Николая, обучавшегося в 4-ой московской мужской гимназии) – гимназию в Ревеле.

Михаил Харузин родился в Москве 4 июня 1859 г.¹ После смерти отца в 1880 г. он стал опорой для матери, братьев и сестер.

После окончания Ревельской гимназии в 1881 г. Михаил поступил в Московский университет на юридический факультет; блестяще окончив курс юридичес-

Керимова Мария Мустафаевна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник ИЭиА РАН.

¹ Во всех энциклопедиях ошибочно приводится 1860 год рождения М.Н. Харузина, однако в записях отца Харузиных указан 1859 год рождения [2. Д. 54. Л. 48–50]. В метрической книге Московской духовной консистории Замоскворецкого сорока (Николаевская церковь в Толмачах) за 1859 г. находим сведения о том, что 4 июня 1859 г. родился и в этот же день был крещен Михаил – сын купца 3 гильдии Николая Иоаннова Харузина из Новгородской губ., г. Старая Русса [3. Л. 169].

ких наук, он провел несколько месяцев в Берлинском и Гейдельбергском университетах, где завершил свое образование.

Очень рано у М.Н. Харузина определилась жизненная позиция, основой которой стала идея служения своему народу, исследование всех областей народной жизни. Именно эти взгляды привели его в стан людей славянофильских убеждений. Это были А.А. Фет и И.С. Аксаков.

С Фетом Михаил познакомился в 1870-е годы, когда вместе с родителями посещал дом Д.П. Боткина. Позднее он, уже двадцатилетним юношей, был радушно принят Фетом и его женой М.П. Шеншиной – родной сестрой Д.П. Боткина, в их доме на Плющихе. Там он встречал И.С. Аксакова, Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева и многих других известных писателей, публицистов и общественных деятелей.

Фет сразу почувствовал симпатию к одаренному юноше. Его письма, относящиеся к 1881–1886 гг., свидетельствуют о сердечности их отношений [3. Д. 5. Л. 5; Д. 99. Л. 1–27]. В отделе рукописей Российской государственной библиотеки сохранились семь писем М. Харузина к Фету (1881–1882 гг.) [4], в которых он описывает студенческую жизнь, взаимоотношения студентов и преподавателей в Московском университете, делится своими впечатлениями от поездок на Север в 1881 и 1882 гг. Переписка А.А. Фета и М.Н. Харузина представляет безусловный интерес для понимания мировоззренческих позиций последнего, его литературных пристрастий и биографии. К сожалению, эти письма до сих пор подробно не исследовались².

Основным преподавателем М.Н. Харузина в университете был проф. М.М. Ковалевский, который подвиг своего ученика на изучение обычного права народов России, что впоследствии стало одной из основных проблем всего его научного творчества. Кроме этого М.Н. Харузин интересовался фольклором русских и других народностей Севера, серьезно изучал сборники А.Ф. Гильфердинга, П.Н. Рыбникова, штудировал книгу В.Н. Майнова «Поездка в Обонежье и Карелу». Его привлекало своеобразие быта и культуры населения северных регионов России. К поездке 1881 г. он приступил как «к священнодействию» и впервые ехал «на Русский Север не с целью собирания этнографических сведений [...], он хотел познакомиться воочию с жизнью народа» [6. С. 431]. В поездку он взял своего лучшего друга – студента М.М. Панова. Их путь из Петербурга лежал по Неве и Свири, Ладожскому и Онежскому озерам, в Заонежье, через Соловки, Архангельск, Новую Землю, вокруг Кольского полуострова и Норвегии. Письмо М.Н. Харузина Фету от 18 сентября 1882 г. представляет собой живописные этнографические зарисовки о вотяках (удмуртах) и других народностях Сарапульского у. Вятской губернии [4. Л. 24–27].

Экспедиция М.Н. Харузина летом 1882 г. оказалась слишком короткой, но огромная подготовка к поездке, изучение всех имевшихся в русской научной литературе трудов и программ по собиранию юридических обычаев дали возможность в сжатые сроки обработать то немногое, что удалось собрать, и подготовить текст к публикации. Первая печатная работа студента М.Н. Харузина вышла в свет в начале 1883 г. [7]. Профессору В.Ф. Миллеру принадлежит высокая оценка начала научной деятельности талантливого студента. «В этой небольшой работе, – писал он, – уже можно подметить те черты, которые характеризуют другие труды М.Н. Харузина. Его интересы не исчерпываются одной юридической стороной народной жизни. Он смотрит на народ с любовью этнографа, наблюдая самые разнообразные проявления народного духа, религиозные верования, обряды, обычаи и т.п., и сосредоточивая главное внимание на юридических понятиях, старается, однако, по возможности нарисовать полную картину всего склада народной жизни» [8. С. 57].

² Упоминание о письмах М.Н. Харузина к А.А. Фету имеется лишь в сообщении С.Е. Ивашкиной [5].

М.Н. Харузин в начале статьи отмечал, что она представляет собой первый этап тех поисков, которые он запланировал произвести в разных частях Вятской губ. летом 1882 г. Он полагал, что они будут интересны для выявления остатков древних родовых союзов и быта различных народов, населяющих Сарапульский у. и описания «отчетливо сохранившихся и замирающих отголосков старины» [7. С. 1] у вотяков, черемисов (марийцев), татар, тептярей (этнографическая группа татар), а также русского населения Сарапульского у., которых исследователь относит к «потомкам новгородских ватаг». Из числа вышеназванных народов вотяки лучше всех сохранили старые формы общественного и семейного быта, поэтому Харузин уделял им наибольшее внимание. Подробно останавливался он на сохранившихся здесь остатках родовых отношений. В то время, когда Харузин наблюдал вотяков, 10 тыс. оставались язычниками, а еще 200 тыс. «приняли христианство только с внешней стороны» [7. С. 4].

По мнению ученого, «родовое начало и следы родовых союзов» еще глубоко коренятся среди «инородцев Сарапульского у.», особенно ярко это проявляется в «сожитии большими семьями», в свадебных обрядах и родовых знаках собственности.

У русских Сарапульского у., в отличие от вотяков и черемисов, Харузин не встретил ясно сохранившихся преданий о родовых союзах; в деревне Чукавинка, например, жители 40 домов носили одну фамилию Чукавины, что однако не препятствовало им вступать между собою в браки, поскольку они поселились в этих местах уже более ста лет назад [7. С. 8]. При определении родства у русских одинаковые фамилии, пишет Харузин, ровно никакой роли не играют. У вотяков же однофамильцы среди родственников считаются ближе, но это также не является препятствием к заключению браков.

Автора особенно интересуют отголоски старины в брачно-семейных отношениях, а именно остатки общинного брака. Ссылаясь на работы Е.И. Якушкина, В.М. Бехтерева и др., он пишет, что, свобода половых сношений у вотяков считалась угодной богам, и женщины, отдававшиеся всякому, пользовались уважением. «Игра в жены» с правом свободных половых отношений долго не считалась развратом. В 1881 г. Харузин наблюдал этот обычай у вотяков в с. Шаркан, но уже лишь в форме пережитка в качестве детской игры. Автор констатировал и факт существования у вотяков «гостеприимного гетеризма» (хозяин дорогому гостю предоставлял свою жену или дочь) – остатки «глубоко еще коренящегося воззрения, что женщина, будучи свободной от брачных уз, принадлежит всей общине» [7. С. 11–12].

Подробно описывает Харузин свадебные обряды у вотяков. В вотяцкой свадьбе, как указывал Харузин, на первый план выступала «чисто юридическая сделка», религиозный момент играл здесь второстепенную роль (была только языческая молитва двух отцов над брачующимися). Редко исполнялся христианский обряд. Венчание в церкви происходило часто через несколько лет после вступления в брак, поскольку вотяки были склонны к ранним бракам, которые церковью запрещались.

Родство, указывал Харузин, играло большую роль в крестьянском быту Вятской губ. Говоря о различных терминах родства и их употреблении, он указывал, что вообще словом «родство» население Сарапульского у. выражало не только понятие кровной связи, но употребляло его и в более широком смысле, включая сюда и родство по браку (свойство) и «духовное родство» (кумовство). Существовало также и побратимство, родство по усыновлению и молочное родство. У местных русских, как и вотяков, слово «родитель» обозначало отца кровного, крестного, отца невесты или жениха, а также умерших родичей и даже неродственников [7. С. 19].

Очень подробно Харузин пишет о духовном родстве крестного и крестника, обычае побратимства и усыновления у вотяков, черемисов и русских. У русских

Сарапульского у. крестный был обычно родственником и чтился больше отца кровного, хотя духовное родство они совершенно очевидно отличали от кровного; вотяки же эту разницу ясно не осознавали, приглашая в восприемники иногда и первого встречного.

Обычай побратимства, – писал Харузин, – был широко известен у русских и инородцев, хотя у вотяков он встречался реже. У последних заключение побратимства между двумя людьми – «крестовыми братьями» («отай») происходило через обмен телесными крестами и подарками. Побратимство между разнополюми лицами встречалось очень редко, а посестримства вообще не существовало. Русские крестьяне четко отличали побратимство от кумовства и не считали первое препятствием к вступлению в брак, а вотяки и черемисы смешивали братание с кумовством и считали, что обмен крестами – это вступление в родственную связь. Интересно сравнение М.Н. Харузиным этих обрядов с южнославянскими. Он отмечал, что, по словам известного хорватского этнографа и общественного деятеля Б. Богишича, у южных славян существовал обязательный обычай обмена крестами жениха с братом невесты [7. С. 23].

Такое изложение материала молодым ученым демонстрирует блестящее владение сравнительно-историческим методом, свидетельствующее о широте его кругозора и о том, что этот метод анализа этнографических явлений для него наиболее приемлем.

Заканчиваются «Очерки» описанием родовых знаков собственности. Такие знаки, по свидетельству М.Н. Харузина, сохранялись в последней трети XIX в. у народов Кавказа, у азиатских кочевников и у населения Северной Руси. Это: *тамга*, используемая вместо подписи и печати. На Руси знаки собственности имели также и другие названия: *пятно*, *мета*, *клеймо*, *тавра*.

В конце XIX в. Харузин находил у местных крестьян *тамгу*, *пятно* и *тавру*; они служили не только знаками собственности, но и происхождения. Каждая большая семья имела свой особый знак. Ее ставили и в виде подписи на различных актах. При сборе М.Н. Харузиным рисунков клейм крестьяне неохотно показывали или вовсе отказывались показать свои знаки собственности, считая, что это равносильно передаче власти над хозяйном и нанесению ему вреда.

Итак, несмотря на кратковременность первой научной экспедиции студента М.Н. Харузина, она увенчалась успехом и оправдала надежды М.М. Ковалевского и В.Ф. Миллера – учителей начинающего этнографа и юриста.

В.Ф. Миллер, занимавший пост председателя Этнографического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (ИОЛЕАЭ) с 1881 г., предложил М.Н. Харузину стать секретарем этого отдела. В качестве действительного члена ИОЛЕАЭ с 1884 г. Харузин принял предложение и занимал эту должность с 1885 по 1887 г. [9. Л. 4] (см. также [10. С. 1]).

Начав свою научную деятельность с изучения народов Севера, он, тем не менее, еще в 1881 г. задумал заняться проблемой эволюции «вольного казачества» на Дону. В период с 1881 по 1884 г. М.Н. Харузин совершил четыре выезда в Область Войска Донского. В 1884 г. поехал туда вместе с братом Алексеем. Собранные полевые материалы и литературные источники он обобщил в первой своей монографии [11]. Руководствуясь указаниями компетентных лиц и многих образованных казаков, он посетил практически все местности Области Войска Донского, извлек из архивов до двух тысяч особо важных актов из книг станичных правлений и судов, сделок и договоров и добыл сведения по разным вопросам из уст самих казаков, проверяя материалы, полученные им из архивных источников, показаниями самих казаков. В книге он поместил лишь такие данные, в которых не было противоречий между этими двумя источниками.

Сборник решений станичных судов должен был составить содержание второго выпуска «Сведений о казачьих общинах на Дону», но М.Н. Харузин не смог осуществить свой замысел [12].

Свой труд автор посвятил одному из идеологов московского славянофильства И.С. Аксакову – «неутомимому борцу за русское народное самосознание». Аксаков же, знакомством с которым Михаил очень гордился, подарил ему одну из своих книг с надписью: «Последнему славянофилу М.Н. Харузину». Как пишет В.Н. Харузина, писатель был, «пожалуй, прав: благородное, идеалистическое направление в славянофильствующей мысли тогда угасало» [6. С. 467]³.

Можно предположить (хотя мы не располагаем прямыми доказательствами), что именно учение Аксакова натолкнуло М.Н. Харузина на мысль о необходимости обратиться к проблеме казачьей «самости»: еще в XVIII в. историк А.И. Ригельман заметил, что казаки считали себя не «москалями», а русскими – «по закону и вере православной, а не по природе» [13. С. 17]. М.Н. Харузин тоже понял двойственность оппозиции *мы* (казаки) – *они* (русские) или же *мы* – *особые русские*, а также большую сложность вопроса этногенеза казачества в целом.

Как ученый со славянофильскими взглядами М.Н. Харузин не мог не интересоваться вопросом самобытности и своеволия донского казачества, веками охранявшего свою свободу от всякого на нее посягательства. Его привлекали в заданной теме проблемы общинного образа жизни, общинного землепользования, процесс постепенной деформации хозяйственного уклада вольных казаков и его последствия.

Идея «высшего духовного объединения» в православной вере, прокламируемая Аксаковым, и мысль о пользе казачьего войска в защите границ России также не могли не волновать молодого ученого. Многочисленные записи и обработанные архивные материалы сделали пространное исследование 25-летнего ученого живым и чрезвычайно ценным не только для специалистов, но и для широкого круга читателей.

В 1721 г. казаки становятся частью вооруженных сил, управляются Военной коллегией, атаманы утверждаются императором и становятся с 1738 г. чином, жалуемым правительством. В период царствования Александра I сократился срок военной службы, и было разрешено выходить из казацкого сословия, создавался класс торговых казаков.

С 1848 г. положение казаков ухудшилось: атаманов стали назначать не из казаков, а из петербургских чиновников. Еще с первой четверти XVIII в. государство начало процесс преобразования казачьих свобод в привилегии (казаки были освобождены от налогообложения, государственных податей и повинностей). Как правильно подмечал М.Н. Харузин, эти меры привели к искусственному обособлению казачества, укреплению в его среде идеи «особости» и неприязни к «русскому обществу» в лице чиновничества и новоиспеченных помещиков. Земли казачьего офицерства в 1848 г. были объявлены потомственной собственностью.

Позднее, в пореформенное время (с 1869 по 1875 г.), на Дону были введены земские учреждения, ведавшее земскими налогами и натуральной земской повинностью, что вызвало крайнее неприятие в среде вольного казачества [11. С. XXXII].

Автор подробно рассматривает поземельные отношения, постепенное разрушение общинного землепользования и «артельного начала», существовавшего в жизни и быту казачьих зимовиц и городков, где сообща вершились «станичным кругом» все общинные дела, чинились суды и расправы, поровну делилась военная добыча. М.Н. Харузин отмечал, что артели (сумы) имели все общее (добычу, захваченную во время военных действий, порох, рыболовные снасти, продукты питания, скот и т.п.), кроме денег. Артелями выезжали казаки на рыбную ловлю и охоту.

³Славянофильство присутствует и в его рассуждениях (1879 г.) о русско-турецкой войне, поддержке Сербии и Черногории Россией [2. Д. 101. Л. 105об., 115об.].

М.Н. Харузин указывал также, что в некоторых казачьих станицах удавалось сохранить старинный способ вольного пользования землей. Казачья земля до начала 70-х годов XIX в. юридически находилась во владении всего войска, без распределения между станицами, но по мере прироста населения и усиления нужды в земле старинный порядок землепользования начал видоизменяться: за каждой станицей закреплялся отдельный участок земли (юрт).

Еще в 1880-х годах, указывал автор, в 70 из 110 станиц пользование общинной (юртовой) землей оставалось свободным от государственного поземельного обложения, т.е. сохранялся старинный способ пользования землей.

Харузин также отметил существование у казаков другого способа землепользования – уравнительного раздела земли по «паям», постепенно вытесняющего вольное землепользование. Положение 1869 г. закрепляло за казаками общинное владение станичными (юртовыми) землями, из которых производилось бесплатное наделение их «паем».

Как прекрасно показал М.Н. Харузин, такие формы землевладения в казачьих общинах, как вольно-захватное и раздел земли «по паям», препятствовали обезземеливанию беднейшей части общинников и концентрации земли в руках богатых. Этот процесс особенно усилился в 1870-х годах в связи с увеличением общего числа населения, передачей части земли в собственность офицеров и чиновников Войска Донского и частных конезаводчиков.

Почти двести страниц автор посвятил брачно-семейным отношениям у донских казаков. Он сделал акцент на доминировании общинного сознания: браки в старину заключались казаками на майдане, в случае их признания общиной. Также происходили и разводы; только в спорных случаях казаки обращались в станичный суд. Со времени царствования Петра I на Дону было введено венчание в церкви. Но и в конце XIX в. казаки часто продолжали держаться старины: жили «большими семьями» (по 30–40 человек в одном курене), почитали старейшину семьи. При вступлении в брак учитывали степени родства, кровное родство служило препятствием к вступлению в брак до седьмой, а иногда даже до девятой степени. Харузин приводил подробную схему степеней родства до пятого колена, уделяя внимание различным видам родства: родству по крови, свойству, духовному родству, побратимству.

Подробно характеризовал он воззрения казаков на вступление в брак, писал о добрачных отношениях, ранних браках, браках, заключающихся против воли родителей и т.п. Информацию автор добывал в разных поселках, куренях у невест и женихов, матерей, свах и т.п. У донских казаков процветали ранние браки в 12–15 лет, допускались смешанные браки казаков с русскими, украинцами, калмыками, старообрядцами [11. С. 72–100].

Описывая цикл свадебных обрядов, автор весьма подробно останавливался на сватовстве, смотре невесты, «рукобитье» – условия заключения брака, роли дружка – распорядителя на свадьбе и перед ней, свадебном пире, первой брачной ночи, обычае демонстрации чести новобрачной, раздаче подарков, первом утре новобрачных («веселое утро»). Записи обычаев, суеверий, связанных со вступлением в брак он сопровождал текстами притчей, песен, поговорок, что очень оживляло повествование.

Харузин фиксировал внимание читателей на своеобразных старинных обычаях: «праздновании подушек» за два дня до свадьбы, т.е. смотр приданого невесты с угощениями и денежными подношениями, обычае печь «каравайчики» накануне свадьбы, выезде жениха на коне, выкупе невесты, обычае согревания дружкой постели молодоженов и т.п. [11. С. 115–162]. Свадебные обряды различались по местностям, их цикл был обычно продолжителен (семь дней).

Чрезвычайно интересен приводимый ученым материал о положении женщины в казацкой семье в начале 1880-х годов. В прежние времена, указывал автор, казак имел над своей женой власть неограниченную, но во время путешествия

ученого по землям Войска Донского, власть эта стала слабеть. Изменения произошли еще в 1854 г., когда казаки уходили на русско-турецкую войну, а казачки, оставаясь в станицах, «заводили шашни с иногородними хохлами и русскими, стали пить водку» и т.п. [11. С. 192–193]. Харузин отмечал, что у казачек больше свободы, чем у женщин в семьях великорусских крестьян. Благодаря военной службе казаков, их жены годами оставались на положении «невольных вдов». За это время они приобретали умение вести хозяйство. В песнях часто пелось о «старшинстве» жены над мужем.

Очень подробно Харузин останавливался на взаимоотношениях родителей и детей в большой семье, роли главы семьи, семейного совета. В старину, пишет автор, в семьях главенствовал отец, власть которого над детьми была безграничной (он даже имел право умертвить своего ребенка) [11. С. 205]. Отец имел право отдать детей в наем, лишить наследства, прогнать. У верховцев, отмечал Харузин, власть отца была сильнее, чем у низовых казаков⁴. Дети были обязаны кормить стариков, а после смерти поминать их хотя бы в течение сорока дней. Внук мог наследовать имущество деда только после отца. В сохранявшихся у казаков «больших семьях» старейшина вершил семейный суд и расправу, после его смерти власть переходила к его жене, а в случае ее смерти – к старшему сыну. Но, как отмечал автор, власть главы семьи слабела год от года, нередко Харузину приходилось слышат о непочтительном отношении детей: «сыновья стали бить отцов и за бороды таскать».

Чем южнее, – писал Харузин, – тем реже встречаются среди казаков большие семьи, а в самых южных станицах их почти нет [11. С. 213, 217, 228; 3. Д. 101. Л. 55].

Подробно характеризует Харузин и знаки собственности (рубежи, межи, клейма, приводит их рисунки), в связи с установлением границ земельного участка, куплей, меной, дарением движимого имущества (клейма на рогатом скоте, лошадях, птице и т.п.).

Заключая книгу, автор разъясняет читателям роль казацкого круга (съезда), станичного схода, станичного, войскового, общинного суда, суда поселкового атамана и стариков в старые и новые времена. Кратко пишет о смертной казни, телесных наказаниях, лишении прав гражданства и свободы (арест), систему уголовных взысканий (штрафы, магарыч судьям, посрамление), расправы за интриги и подкупы. Большой раздел посвящен и нововведениям в правовых порядках казацких общин, общественным работам на старинных артельных началах, артелям нищих и даже жуликов, оказанию помощи беднякам, плате священникам, общественным пирам и забавам, кулачным боям, проводам на военную службу и т.д. [11. С. 356–377].

В.Ф. Миллер, оценивая монографию молодого ученого, недавно завершившего университетский курс, справедливо писал: «Называя скромно свой труд лишь материалами для обычного права, автор дает нам гораздо более, чем обещает. Книга представляет полную и всестороннюю картину быта донских казаков, основанную на богатых материалах. Притом в его историческом изложении мы видим, как последовательно складывались современные черты этого быта, и находим объяснение «настоящего в условиях прошлого» [14. С. 2].

Блестящую характеристику монографии 25-летнего ученого дали профессора права Московского университета М.М. Ковалевский и А.Н. Филиппов, знавшие Харузину по юридическому факультету. М.М. Ковалевский отмечал, что диссертация Харузина «об обычном праве донских казаков была напечатана толстым томом и служит теперь настольной книгой для всякого, кто желает познакомиться с особенностями быта этой обширной области нашего отечества» [15. С. 234]. Фи-

⁴ Казаки, живущие вниз по Дону, назывались низовыми, вверх от Цымлянской станицы – верховыми.

липпов в обстоятельном отзыве, прежде всего, подчеркивал, что в книге собран такой материал «для решения вопроса о поземельных и семейных отношениях у казаков, вопроса о судеустройстве и судепроизводстве, благодаря которому многое лучше уясняется для нас теперь; книга носит на себе следы *непосредственного живого* (подчеркнуто мной. – М.К.) отношения к наблюдаемому и притом, что очень важно, правовые нормы и обычаи наблюдает образованный юрист» [16. С. 749].

Признанием солидности труда М.Н. Харузина послужило принятие его юридическим факультетом в качестве кандидатской диссертации и назначение автора в 1885 г. приват-доцентом на кафедре государственного права Московского университета.

По окончании университета, М.Н. Харузин активно включился в работу секретаря Этнографического отдела ИОЛЕАЭ. Он делал все возможное, чтобы расширить его деятельность. В 1886 г. вице-президент общества В. Миллер поручил М. Харузину составить «Программу для собирания сведений об юридических обычаях» (вышла в свет в Москве в 1887 г.).

Дальнейшая судьба М.Н. Харузина сложилась необычно. После трехлетней работы на посту секретаря Этнографического отдела ИОЛЕАЭ и солидных успехов в области этнографии и правоведения, он, однако, отказался от почетной должности преподавателя юридического факультета. В июле 1887 г. Харузин сложил с себя звание секретаря отдела этнографии и отправился в Ревель, где поступил на службу чиновником особых поручений при Эстляндском губернаторе.

Очевидно, М.Н. Харузину хотелось в конкретных делах осуществить и свои общественно-политические идеи и убеждения. Здесь он занялся «балтийским» вопросом: изучал историю края, собирал архивные документы, которые печатал в редактируемых им «Эстляндских губернских ведомостях», внимательно изучал этнографические и бытовые условия разных этносов губернии, предпринимал с этой целью поездки, писал статьи и брошюры политического характера [17].

Здесь уместно вернуться к анализу воспоминаний В.Н. Харузиной. В них она не раз отмечала, что Михаил был знаком с людьми разных направлений в общественной жизни России второй половины XIX в. В тесных дружеских отношениях М.Н. Харузин был с членами «Этического кружка», которые принесли в дом Харузиных идеи Дарвина, Ренана, Штрауса, нигилистические и атеистические воззрения того времени.

В этом вихре разных взглядов формировалось мировоззрение М.Н. Харузина. «Он, – вспоминала Вера, – никогда не скрывал своих убеждений – славянофильских, монархических и националистических, – хотя в то время они и вызывали у иных насмешливые улыбки и гримасы. Но, может быть, это смелое исповедание своих убеждений наиболее импонировало кружку молодежи – его товарищам по университету. Они могли не соглашаться с ним во многом, считать его взгляды, особенно его религиозность, устарелыми; но не могли они его не уважать, поскольку он считал, что самое важное для него – правда. Недаром на придуманном Михаилом книжном знаке выгравирован был следующий девиз: “Правда – свет разума”» [6. С. 468].

Как уже отмечалось, в свои 20 лет Харузин познакомился с теориями дореформенного славянофильства, в частности, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, В.С. Соловьева. Известно, что незадолго до кончины Аксакова в 1886 г. М.Н. Харузин часто посещал «пятницы» в его доме.

В студенческие годы, он был знаком с болгарскими студентами Бонче Боевым (впоследствии крупным общественным деятелем и ученым Болгарии), Христо Бончевым и другими деятелями болгарского возрождения, свято верившими, что именно Россия освободит южных славян от многовекового османского ига. Харузины искренне радовались победам России в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

и независимости болгар, сербов и черногорцев. Показательно, что Михаил в письме к сестре Елене в 1877 г. отмечал, что многие русские не разделяют точку зрения поэта-славянофила А.С. Хомякова, провозглашавшего идею объединения освобожденных от турок сербских земель под главенством Российской империи. Оценивая позицию Хомякова, Харузин писал: «Теперь, когда единодушие все нужнее, – русские говорят, что боятся, чтобы Сербия не сделалась частью Российского государства под именем Белградская губерния. Но мы, как настоящие русские, простим им; не время теперь разбираться, кто прав или виноват: все мы славяне, и каждый из нас обязан по силам трудиться для славянского дела» [2. Д. 101. Л. 115об.].

Преждевременная смерть молодого талантливого ученого 25 сентября 1888 г. от брюшного тифа вызвала множество печальных откликов. Тело покойного было доставлено в Москву и захоронено вблизи главного входа в храм Новодевичьего монастыря.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив Харузина в библиотеке МГУ // Этнографическое обозрение. 1995. № 6; *Kerimova M. Slovenija in Slovenci v delih Alekseja N. Haruzina in Vere N. Haruzin. Kronika. Ljubljana. 1998. № 46; Kerimova M.M. Словения и словенцы в трудах А.Н. Харузина и В.Н. Харузиной // Живая старина. 1998. № 2; Kerimova M.M., Наумова О.Б. А.Н. Харузин – этнограф и антрополог // Репрессированные этнографы. М., 1999; Kerimova M.M., Наумова О.Б. Архив А.Н. Харузина в библиотеке МГУ // Вестник архивиста. 2000. № 5–6; 2001. № 2; Kerimova M.M. Семья этнографов Харузиных и их эпистолярное наследие // Этнографическое обозрение. 2003. № 4; *Kerimova M. Nikolaj Haruzin in Vasilij Kandinski. Pisma V.V. Kandinskoga N.N. Haruzinu // Traditiones. Ljubljana. 2007. № 36/1.**
2. Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 81.
3. Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 552. Ч. 3.
4. Отдел рукописей РГБ. Ф. 315. Картон 12. Д. 22.
5. *Ивашкина С.Е.* М.Н. Харузин – новое лицо в окружении А.А.Фета // XII Фетовские чтения 1997 г. в г. Курске. А.А. Фет, проблемы изучения жизни и творчества. Материалы докладов. Курск, 1997.
6. *Харузина В.Н.* Прошлое. Воспоминания детских и отроческих лет / Вступ. ст., подгот. текста и комм. М.М. Керимовой и О.Б. Наумовой. М., 1999.
7. *Харузин М.Н.* Очерки юридического быта народностей Сарапульского уезда Вятской губ. // Юридический вестник. М., 1883. № 2.
8. Речь проф. Московского университета В.Ф. Миллера 28 сентября в заседании Отдела этнографии ИОЛЕАЭ // Михаил Николаевич Харузин. Скончался в Ревеле 25 сентября 1888 г. Ревель, 1888.
9. Российский государственный архив литературы. Ф. 323. Д. 427.
10. Труды ИОЛЕАЭ. Этнографический отдел. М., 1888. Кн. VIII.
11. *Харузин М.Н.* Сведения о казачьих общинах на Дону. Материалы для обычного права. М., 1885. Вып. I.
12. Новь. 1885. Т. II. № 6. С. 383; Русская мысль. 1885. № 3. С. 32.
13. *Ригельман А.И.* История о Донских казаках. Ростов-на-Дону, 1992.
14. *Миллер В.Ф.* Памяти М.Н. Харузина // Труды Этнографического отдела ИОЛЕАЭ. М., 1889. Кн. IX. Вып. I.
15. *Ковалевский М.М.* Моя жизнь. М., 2005.
16. *Филитов А.* Рец.: Михаил Харузин. Сведения о казачьих общинах на Дону. М., 1885 г. // Юридический вестник. М., 1885. № 8.
17. *Харузин М.Н.* Балтийская конституция. Историко-юридические очерки. М., 1888.



© 2010 г. И. ЯНЫШКОВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВАЦЛАВА МАХЕКА

Статья посвящена жизни и творческому пути профессора В. Махека, выдающегося индоевропеиста, слависта, балтиста, этимолога, автора этимологического словаря чешского языка.

The article is devoted to life and works of Professor V. Machek an outstanding scholar in the area of Indo-European, Slavic, Baltic Studies, as well as in etymology – the author of an etymological dictionary of the Czech language.

Ключевые слова: Вацлав Махек, славистика, этимология, индоевропеистика, грамматика.

Вацлав Махек известен в стране и за рубежом как выдающийся индоевропеист, славист, балтист, этимолог, автор обширного этимологического словаря чешского языка, нескольких монографий и ряда этимологических этюдов, статей, рецензий и др. Большая часть жизни проф. Махека связана с Брно, с философским факультетом Брненского университета, а затем с этимологическим сектором Славянского института Чехословацкой академии наук (в настоящее время это отдел этимологии Института чешского языка Академии наук Чешской Республики).

Представим коротко жизненный и творческий путь Махека, приблизив тем самым к нам личность этого всемирно признанного лингвиста. Материал для статьи почерпнут из воспоминаний и опубликованных работ его учеников, главным образом, Эвы Гавловой и Адольфа Эрхарта (см. [1]), а также из архива Брненского университета имени Масарика и рассказов Людмилы Ковачиковой, дочери Махека.

Вацлав Махек родился 8 ноября 1894 г. в маленькой восточночешской деревеньке Ухлеёв, точнее, в ее части под названием Бродек, недалеко от города Хоржице, в семье бедного деревенского портного. У него было четверо родных и десять сводных братьев и сестер (до зрелого возраста дожили, однако, только восемь из них). Благодаря субсидии для талантливых студентов, Махек имел возможность в 1906–1914 гг. учиться в гимназии в городе Двур Кралове над Лабом. После экзамена на аттестат зрелости, который Махек успешно сдал в июле 1914 г., его приняли на философский факультет нынешнего Карлова университета, где он изучал чешский и латинский языки для преподавания в средней школе.

Первая мировая война изменила жизнь В. Махека: его призвали в армию, где он был три года. Таким образом, его университетское обучение было завершено лишь в мае 1921 г. В октябре этого же года он сдал экзамены на степень доктора. Профессора Йосеф Зубаты и Олдржих Гуер (Hujer) внушили ему интерес к срав-

Янышкова Илона – научный сотрудник Института чешского языка АН ЧР (Брно). Статья была подготовлена при поддержке гранта (GA ČR) № 405/07/1092.

нительному славянскому языкознанию, которым Махек потом занимался всю свою жизнь. В 1921–1924 гг. Махек в качестве стипендиата французского правительства провел два с половиной года в Париже, где посещал лекции А. Мейе, Й. Вандриеса, Й. Блоха и других профессоров; во время стажировки Махек занимался также в библиотеке парижского Славянского института. После возвращения на родину Махек работал преподавателем в гимназии в городе Пардубице, в 1924–1927 гг. – в Словакии, в городе Трнава, затем он один год преподавал в городе Нове Место над Вагом, в 1928–1931 гг. – в моравском городе Тишнов (но в 1930–1931 гг. он был освобожден от преподавания для работы в Канцелярии Словаря чешского языка в Праге) и, наконец, в 1931–1936 гг. – в гимназии Кралово Поле в Брно (здесь он был вновь освобожден от педагогической работы для занятий наукой). В 1931 г. Махек получил в Университете имени Масарика в Брно звание доцента по специальности «сравнительное индоевропейское языкознание» (его диссертация на соискание звания доцента «Этюд об образовании экспрессивных выражений» появилась в 1930 г.). Вплоть до 1936 г. Махек работал на философском факультете доцентом, весной 1936 г. его назначили чрезвычайным профессором сравнительного индоевропейского языкознания, а ordinарным профессором он был назначен только после Второй мировой войны осенью 1945 г. Тридцатые годы оказались значимыми и для личной жизни Махека. Осенью 1934 г. он женился на Людмиле Блеховой, которая стала его опорой на всю жизнь.

Вацлав Махек в 1951–1954 гг. работал на Брненском философском факультете заместителем декана по научной работе. В 1956 г. он получил звание д-ра филол. наук, а в 1958 г. был назначен заведующим новой кафедры славистики и сравнительного языкознания. Удивительна широта тематики лекций и семинаров, которые Махек вел на факультете с 1931 по 1965 г.: от индоевропейского и славянского сравнительного языкознания – через занятия санскритом, авестой, древнегреческим, тохарским языками и др. – до истории языкознания и культуры древних индоевропейцев. По воспоминаниям его учеников, проф. Махек был на редкость скромным человеком, самокритичным, искренним, добросовестным, приветливым и готовым прийти на помощь. Рассказывают, что у Махека был редкий педагогический дар, он мог увлекательно объяснить студентам, которые с удовольствием посещали его лекции и семинары, самую сложную тему. Его лекции всегда собирали много слушателей. Махек преподавал и занимался научной работой и во время борьбы с тяжелой болезнью, против которой он все же не смог устоять 26 мая 1965 г.

Библиография научных трудов В. Махека очень велика, в нее входит более чем 400 работ. В центре его интересов находились проблемы этимологии. Вначале (с 1924 г.) этимологические работы Махека были связаны с этимологией отдельных славянских слов, что имело огромное значение, так как славянский языковой материал, часто очень древний, был к тому времени обработан и рассмотрен в минимальной степени (по сравнению с другими индоевропейскими языками). Махек постепенно перешел от объяснений отдельных слов к разработке целых лексико-семантических групп; он писал, например, о славянских названиях узды, о наименованиях растений, грибов, птиц, рыб, блюд, цветов, богов и демонов и др. Он уделял внимание также языковым контактам славян с другими индоевропейскими народами, в первую очередь контактам славяно-балтийским (им посвящена книга «Исследования в области балто-славянской лексики» [2]) и славяно-германским, о которых он писал в ряде статей (самые важные опубликовались в 1951–1954 гг. под названием «Несколько славяно-германских выражений» в журнале «Slavia»). Для этимологического метода Махека характерно то, что он придавал особое значение семантическому сходству слов, которое он ставил выше сходства в фонетике. Он писал: «Самое главное, на самом деле главное, – то, что надо придерживаться значения слова. Давайте не отклоняться слишком от него! В этом

мы будем отличаться от предыдущих поколений. Если мы будем придерживаться значения, т.е. исходить из самого подлинного значения слова, нам удастся найти даже новые явные связи (пусть есть сомнения в возможности таких открытий). Собственно говоря, надо подходить к проблемам также с других сторон, как бы с другого берега, прежде всего со стороны значения» [3. S. 319]. Общеизвестно, что, помимо закономерных фонетических изменений, Махек, находившийся под влиянием работ польского лингвиста Й. Отрембского, допускал также факультативные, спорадичные фонетические изменения, например, экспрессивное удлинение, субституцию согласных типа *b/p/m*, *d/n*, замену плавных согласных *r/l*, субституцию согласных типа звонкий/глухой, дальнюю метатезу, вставку плавных согласных *r/l*, экспрессивное смягчение некоторых согласных, экспрессивное *ch-*, вторичную назализацию и др. (более подробно см. [4. S. 11–15]).

Для Махека совершенно принципиально последовательное применение метода «*Wörter und Sachen*» («Слова и вещи»); это значит (словами Махека), что «исследование слов надо соединить с изучением вещей. Лозунг “слова и вещи” означает обязанность хорошо знать саму вещь, историю, характер времени и социальный контекст данного понятия. Необходимо познакомиться с этнографией и с культурной историей» [3. S. 316]. Хорошо известно, что Махек обладал энциклопедическими знаниями в многих сферах материальной и духовной культуры, он интересовался живой природой, главным образом ботаникой. Эти занятия нашли отражение в многочисленных статьях и, главным образом, в книге «Чешские и словацкие названия растений» (1954). Его привлекала также этнография, как видно в его этимологических интерпретациях, где он проявлял детальное знание реалий материальной культуры, народных обычаев, поверий и др. В качестве примера можно упомянуть о статье «Заправка рогов маслом» (она была опубликована в 1946 г. в словацком сборнике «*Národopisný sborník*»), в которой Махек объясняет – в контексте дальнейших индоевропейских связей – старинный обычай заправки рогов маслом в Словакии, или рецензию на книгу Р. Беднарика «Духовная и материальная культура словацкого народа» (она была опубликована в 1946 г. в журнале «*Listy filologické*»), в которой Махек подчеркивает: «Упоминаем об этой работе Беднарика, так как языкознание должно работать рука об руку с этнографией» [5. S. 51].

Махек живо интересовался историей древних индоевропейцев (в 1938 г. в журнале «*Věda a život*» появилась его статья «Вновь открытые индоевропейские языки» и там же в 1941 г. статья «Индоевропейские доисторические времена согласно нордической теории»), главным образом их верованиями и религией. На основе наименований богов в отдельных индоевропейских языках Махек стремился реконструировать картину самого древнего индоевропейского пантеона (из работ, посвященных этой теме, можно привести ряд статей, которые публиковались с 1942 г. в журнале «*Archiv orientální*», например, «Название и происхождение бога Индра» (1942), «Происхождение божества Ашвинс» (1946), «Происхождение богов Рудра и Пушан» (1954), «Происхождение бога Вишну» (1960)); в 1973 г. (посмертно) вышла в иранском сборнике «*Bulletin of the Iranian Culture Foundation*» обширная статья «Происхождение авестийского бога Вртрагна», что имело значение для изучения славянской мифологии. Это подтверждается его этюдами «Сравнительное эссе о славянской мифологии» в журнале «*Revue des études slaves*» (1947) и «Место Свентовита в древней славянской религии» в журнале «*Orbis scriptus*» (1966).

Вацлав Махек сумел популяризировать этимологическую науку, что можно проиллюстрировать примерами статей о названиях грибов, которые публиковались с 1947 г. в журнале «*Casopis československých houbařů*». Последняя из них, названная «Рождение этномикологии» (1960), подробно излагает основы этномикологии – новой научной дисциплины, которая занимается изучением роли грибов в истории народной культуры.

Работы Махека ценятся и за пределами лингвистической науки. В архиве Университета им. Масарика, где хранятся материалы биографического характера (включая домашнюю и иностранную корреспонденцию Махека), есть письмо от 8 февраля 1944 г., в котором председатель чешского микологического общества Ф. Смотлаха просит Махека занять пост эксперта совещательного комитета этого общества.

Махек интерпретировал преимущественно нарицательную лексику; объяснением собственных имен он занимался лишь косвенно (писал об именах *Olomouc*, *Jeseniky*, *Paka*, *Кремль*, *Волга*, кроме того, рецензировал несколько ономастических журналов). При этом он осознавал значение собственных имен для этимологических исследований. В статье об ойкониме *Paka* Махек писал: «В праславянский словарный состав мы должны включить также определенное количество слов, подтвержденных только собственными именами» [б. S. 308].

В работах Махека затрагивались также проблемы разных областей грамматики. Из фонетических трудов надо упомянуть (помимо монографии об экспрессивных фонетических изменениях – «Этюды об образовании экспрессивных выражений») обширную статью о происхождении начального *ch*, которая была опубликована в журнале «Slavia» (1938–1939. № 16) под названием «Исследования об инициальном *x*- в славянских языках». Из морфологических работ можно привести, например, статью о происхождении латинского имперфекта на *-bam* и будущего времени на *-bo* «К объяснению *-bam* и *-bo* в латинском языке», которая вышла в 1962 г. в сборнике «Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata». В своих трудах по словообразованию Махек обращал внимание на глагольные и именные суффиксы (ср., например, его статью «Славянские глаголы на *-chati*» в журнале «Lingua Posnaniensis» в 1953 г.), в синтаксических работах – на усиленный творительный падеж типа чешского *dareba s darebou* и соответствующие русские формы типа *дурак дураком*, *болван болваном* (в журнале «Naše řeč», 1929. № 13/2). Махек «проник» также в некоторые другие дисциплины. Так, в статье «Кто такой Коздра в древнечешском споре души с телом» (в журнале «Listy filologické». 1957. № 80) он интерпретировал один древнечешский текст, в статье «Первые два издания древнечешского “Совета зверей”» (в журнале «Listy filologické». 1938. № 65) рассмотрел древнечешский памятник. В одной статье Махек даже «забрел» в музыку: в 1959 г. он написал статью «Йосеф Зубаты как музыкант» для журнала «Hudební rozhledy».

В пятидесятые годы прошлого века, во время подготовки своего обобщающего труда «Этимологический словарь чешского и словацкого языков», Махек уделял большое внимание вопросам, связанным с созданием этимологических словарей, о чем свидетельствует прежде всего его статья «Принципы составления этимологических словарей славянских языков», которая была опубликована в 1958 г. в сборнике «Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», а также обширный обзор «Советская литература о задачах и содержании этимологических словарей» (в журнале «Sovětská věda – Jazykověda». 1953. № 3).

Большую часть своих творческих сил Махек отдавал рецензиям (ср., например, его обширную рецензию на этимологический словарь русского языка Фасмера в журнале «Slavia». 1954. № 23 и 1959. № 28) и небольшими статьями обзорного характера (их около 170) о новых книгах в лингвистике, а также о книгах смежных дисциплин, какими являются, например, история, этнография, литература и др. Ценны также некрологи, в которых Махек оценивал работы таких видных лингвистов, какими были О. Хуер, И. М. Коржинек, Й. Янко, Й. Баудиш и др. Надо еще напомнить о редакторской и издательской деятельности Махека, прежде всего об издании сочинений Йосефа Зубатого («Йосеф Зубаты: Этюды и статьи». 1949. Т. I. Ч. 2 и 1954. Т. II).

В 1952 г. В. Махеку, профессору Брненского философского факультета, предложили вести в только что учрежденном секторе этимологии Славянского института Чехословацкой академии наук в Брно подготовительную работу с целью создания «Этимологического словаря славянских языков». В. Махек сформировал словник для подготавливаемого общеславянского этимологического слова-

ря, который пополнял данными из этимологической литературы, а также своими собственными идеями. Этот постоянно обновляемый словник стал основой для создания обстоятельной картотеки, в которой карточки с лексикологическими и этимологическими выписками помещены по праславянским заглавным словам. Для «Этимологического словаря славянских языков» (который, по первоначальному замыслу, должен был продолжаться с того места, где закончился «Славянский этимологический словарь» Бернекера) была проведена авторская и редакторская работа над статьями на *n-*, *o-*, *o-* и частично также на *p-*. Обработанная часть этого словаря никогда не публиковалась целиком¹, но некоторые отдельные статьи публиковались в журнале «Slavia», № 59 (1990), № 60 (1991), № 63 (1994), № 66 (1997), № 70 (2001), № 72 (2003) и № 74 (2005) под названием «Из материалов Этимологического словаря славянских языков». Вацлав Махек уже не участвовал в подготовке статей «Этимологического словаря славянских языков», так как в то время он напряженно работал над окончанием «Этимологического словаря чешского и словацкого языков», который был издан в 1957 г. Второе, исправленное и дополненное издание этого словаря вышло посмертно в 1968 г. под названием «Этимологический словарь чешского языка», при этом словацкий материал подавался уже не самостоятельно, а среди данных остальных славянских языков.

В 2009 г. исполнилось 115 лет со дня рождения Вацлава Махека, а в 2010 – 45 лет со дня его смерти. Отдел этимологии, возникновению которого проф. Махек способствовал, подготавливает – и не только в связи с этими «полукруглыми годовщинами» – издание полного собрания его сочинений, так как многие его труды разбросаны по разным журналам, отечественным и иностранным сборникам, газетам, и, таким образом, они не всегда доступны научной общественности. Труднодоступны даже те работы, которые публиковались в нашей стране, прежде всего в журналах и лингвистических, чаще всего естественно-научного направления, сборниках. Изданием собраний сочинений Вацлава Махека мы хотим облегчить иностранным и отечественным лингвистам и всем, кто интересуется этимологией, знакомство с обширным научным наследием Махека и одновременно показать широту и значительность его исследовательских интересов, выходящих за рамки языкознания.

В собрание сочинений включены все публикации автора, статьи, рецензии, эссе, сообщения, некрологи, заметки в разных журналах и сборниках, статьи в энциклопедиях, популяризаторские статьи в газетах, за исключением его монографий «Этюды об образовании экспрессивных выражений», «Исследования в области балто-славянской лексики», «Чешские и словацкие названия растений» и словарей «Этимологический словарь чешского и словацкого языков», «Этимологический словарь чешского языка». Включена также не публиковавшаяся до сих пор лекция Махека 1961–1962 гг. «Изучение индоевропейского словарного запаса», которая, по нашему мнению, может быть интересной и полезной для современников; она одновременно дает представление о Махеке как о преподавателе, лекции которого были в те времена на философском факультете одними из самых популярных (кстати, они никогда раньше не публиковались). В собрании сочинений приведен также подробный список научных трудов Вацлава Махека, обзор его редакционной деятельности, список лекций и семинаров на философском факультете, список трудов разных авторов, которые писали о нем. Издание дополняют указатель слов, предметный и именной указатель.

Надеемся, что собрание сочинений Вацлава Махека будет полезно не только для лингвистов различного профиля, но и для этнографов, природоведов, археологов, культурологов и всех тех, которых интересует слово и его история.

¹ Отдельным изданием вышел под названием «Этимологический словарь славянских языков» (Praha. 1973. Т. 1; 1980. Т. 2), который содержит только грамматические слова и местоимения. Автором 1-го тома «Предлоги и конечные частицы» является Ф. Копечный, авторами статей 2-го тома «Союзы, частицы, местоимения и местоименные наречия» стали Ф. Копечный, В. Шаур и В. Полак.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Havlová E.* Vzpomínka na Václava Machka // *Homo Bohemicus*. № 4, Sofija, 2002. S. 19–21; *Erhart A.* Profesor Václav Machek sedmdesátníkem // *Listy filologické*. 1964. № 87. S. 209–216; *Erhart A.* K sedmdesátnám profesora V. Machka // *Sborník prací filosofické fakulty brněnské university*. 1964. № 13. S. 7–15; *Erhart A.* Václav Machek (1894–1965) // *Ročenka brněnské university 1964–1968*. Brno, 1969. S. 45–49; *Erhart A.* Vzpomínka na profesora V. Machka // *Universitas*. 1975. № 3. S. 107–108; *Erhart A.* Václav Machek // *Universitas*. 1994. № 3. S. 55–56; *Bauer J.* Zemřel profesor Václav Machek (8. XI. 1894–26. V. 1965) // *Listy filologické*. 1966. № 89. S. 86–87; *Janáček K.* Václav Machek šedesátníkem // *Naše řeč*. 1954. № 37. S. 257–262; *Jelínek M.* Sedmdesátný profesora Václava Machka // *Naše řeč*. 1964. № 47. S. 257–266; *Kopečný F., Mátl A.* Václav Machek (8. XI. 1894–26. V. 1965) // *Slavia*. 1966. № 35. S. 338–339.
2. *Machek V.* Recherches dans le domaine du lexique balto-slave. Brno, 1934.
3. *Machek V.* O potřebě a problematice slovanského etymologického slovníku // *Slavia*. 1953. № 22.
4. *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968.
5. *Machek V.* Рец. на кн.: *R. Bednárik*. Duchovní a hmotná kultura slovenského ľudu // *Listy filologické*. 1946. № 70.
6. *Machek V.* Jméno Paka // *Zpravodaj Místopisné komise ČSAV*. 1964. № 5.



© 2011 г. Ст. РИСТИЧ

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКИ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА

В статье на материале корпуса новых слов рассматриваются новейшие словообразовательные процессы в развитии лексики современного сербского языка.

The subject of this paper is the derivational processes in the lexical development of contemporary Serbian language using the corpora of neologisms.

Ключевые слова: сербский язык, новые слова, словообразовательные процессы, словообразовательные типы.

Настоящая работа базируется на корпусе новых слов сербского языка Джорджа Оташевича, составленного на основании приблизительно 600 источников – литературных, научных и публицистических текстов, а также нескольких десятков наименований периодических изданий. Корпус включает лексику конца XX и начала XXI в. [1]. Цель данного исследования состоит в том, чтобы продемонстрировать тенденции в изменении динамики развития сербского языка в плане синхронии, а также социолингвистические и нормативные эффекты этих изменений¹.

При обзоре отобранных примеров из корпуса новых слов замечено, что лексический фонд сербского языка последнего периода обогащается несколькими способами: введением новых слов для новых реалий и понятий из различных областей – *банкомат*, *ваучеризација*, *хакер*, *хакерски*, *хаковати*, *причаоница* ‘место для болтовни, а не разговора (*прича*)’, *радарац* производное от *радар*, заимствованием слов и словообразовательных формантов из других языков, активизацией существующих словообразовательных моделей, а также – в меньшем объеме – изменением значения слова².

Очевидно явление усиленной детерминологизации, при котором указанная перегруппировка терминов в фонд общей лексики сопровождается в плане деривации формированием весьма развитых словообразовательных гнезд – например, лексика традиционной и альтернативной медицины. Продолжается также интенсивный процесс жаргонизации³, который можно проиллюстрировать примерами типа *бакутанерски*, *бањажа*, *баџачлија*, *безвезница*, *бејзболија* (от *baseball*), *биз-*

Ристич Стана – сотрудник Института сербского языка Сербской Академии наук и искусств (Белград, Сербия).

¹Такой синхронный срез демонстрирует процессы языкового развития в тот микропериод времени, который отражает закономерности исторического развития языка в области словообразования как целостного предмета изучения неодериватологии (см. [2. С. 392–426]).

²Обработка материала корпуса новых слов выявляет определенные закономерности словообразовательных процессов, которые могут оказаться важными для неодериватологических исследований (ср. [2. С. 405–406]).

³О процессе жаргонизации и о жаргоне в сербском языке см. [3].

ничар, бизнисчарење (от *business*), бојкотер (от бойкот), вашиаризација (от *вашиар* – ‘базар, ярмарка’), паролија (от *парола* – ‘лозунг, призыв’), пасошник (от *пасош* – ‘загранпаспорт’), рукоцмакање, трендаш (от *trend*), трибинаш (от *трибина* – ‘трибуна, митинг, заседание’), рађатељка (‘женщина-роженица, которая зарабатывает на родах’), шалајбазерисање, шарлатанизам, шишалица (‘прибор для стрижки’), цетирање (от *цеп* – ‘карман’), огаоваруша, бављеница, облизивачица, первезуша (от англ. *perverse*), постельарка (от *постель*) и др.

В новейшей фазе своего развития лексический фонд сербского языка значительно расширяется при помощи словообразовательных процессов префиксации и сложения в виде композитов и полукompозитов с префиксами и префиксоидами иноязычного и сербского происхождения. Продуктивностью отдельных словообразовательных типов усиливается также процессами гибридизации, которые можно проиллюстрировать открытыми словообразовательными рядами с формантами типа *a-* (*аисторијски*, *аисторизам*, *анормалност*, *акомунист*, *анационалан*, *асексуалан*), *анти-*, *алко-* (*алко-бизнис*, *алко-бизнисмен*, *алко-мафија*), *аеро-*, *авио-*, *агро-*, *аква-*, *арт-*, *архи-*, *ауто-*, *без-/с-* (*бездоман*, *бездомност*, *беспилотан*, *беспроблемски*, *бестелесно*), *био-*, *ван-* (*ванакцијашки*, *ванболнички*), *велико-*, *видео-*, *високо-*, *више-*, *де-*, *евро-*, *еко-*, *електро-*, *енерго-*, *етно-*, *идејно-*, *кратко-*, *мало-*, *мега-*, *међу-*, *изван-*, *једно-*, *југо-*, *квази-*, *контра-*, *мулти-*, *над-*, *нарко-*, *наци-*, *не-*, *нео-*, *неуро-*, *ниско-*, *ново-*, *од-*, *опште-*, *полу-*, *порно-*, *пост-*, *пра-* (*пра-рођак*, *прасеоба*, *прасуштина*, *праутицај*), *прво-*, *пред-*, *пре-*, *про-*, *против-*, *прото-*, *псеудо-*, *психо-*, *радио-*, *раз-*, *само-*, *све-*, *хипер-*, *социо-*, *средње-*, *супер-*, *ТВ-*, *транс-* и *ултра-*.

В случаях префиксального словообразования и сложения рассматриваются инновации в продуктивности и конкуренции формантов сербского и иноязычного происхождения, причем на семантическом поле отрицания и противопоставления у формантов *не-*, *против-*, *назови-*, *надри-*, *анти-*, *контра-*, *квази-* и *псеудо-*, а на семантическом поле степени проявления признака у формантов типа *високо-*, *велико-*, *средње-*, *полу-*, *мега-*, *мулти-*, *ултра-*, *хипер-* и др.

Словообразовательные единицы с сербским префиксом *не-* и с иностранным префиксом *анти-* весьма широко представлены в корпусе новых слов, а инновации можно наблюдать у именных префиксальных образований типа *небогослужбен*, *недемократа*, *нејеврејин*, *некомуниста*, *немајстор*, *немасон*, *непецарош*, *непитање*, *нерус*, *неспортиста*, *нечлан*, *неватромет*, *нелампион*, *нешкола*, *небивање*, *немржња*, *нехраброст*, *неживот*, *не-Невена*; *антиагитпроп*, *антибольшевизам*, *антибосанство*, *антивојак*, *антидрама*, *антидржава*, *антиздравица*, *антиисторија*, *антијунак*, *антимузеј*, *антисрбин*, *античитатељ* и др.

Новые слова с сербским префиксом *не-* показывают, что в этом продуктивном словообразовательном типе преобладают слова с сербской основой. Это означает, что при последней волне словообразовательных единиц, содержащих отрицание, этот словообразовательный тип остается в пределах нормы, задававшей при префиксальном словообразовании модель «сербский префикс + сербская основа».

В данной словообразовательной категории правила по ограничению сочетаемости префиксальной части и основы у словоформы нарушаются в словообразовательном типе с иноязычными формантами *анти-*, *контра-*, *квази-* и *псеудо-*, поскольку в большинстве примеров эти форманты присоединяются к сербским основам. Такая ситуация дает возможность значительного преимущества иноязычным и вытеснению сербских формантов *не-* и *против-* при конкурирующем значении, что может нарушить существующее положение, при котором сербские элементы преобладают в словообразовании сербского языка. Тем более, что корпус новых слов показывает – префикс *анти-* в своем первичном значении ‘противопоставление’ в значительной мере снизил продуктивность сербского форманта *против-*, а в своем значении ‘взаимность’ последний вытесняется опять-таки иноязычным формантом *контра-*, представленным многочисленными

гибридными словоформами. Такое же явление характерно для формантов *квази-* и *псеудо-*, которые в первичном значении 'ненастоящий, ложный, непрототипический' обилием гибридных словоформ вытесняют сербские форманты *назови-* и *надри-*, а также префикс *не-* в этом для него вторичном значении. Однако языковая действительность ясно показывает, что в корпусе новых слов на семантическом поле отрицания и противопоставления доминируют сербские словообразовательные элементы благодаря тому факту, что и в новейшем периоде развития сербского языка продуктивный словообразовательный тип с префиксом *не-* сохраняет словообразовательную модель «сербский префикс + сербская основа», а словообразовательные типы с иноязычными формантами *анти-*, *контра-*, *квази-* и *псеудо-* демонстрируют усиленный процесс гибридизации. Таким образом оказывается, что количественное воздействие гибридизации позитивно отражается на стабилизации лексической нормы сербского языка и его функциональных стилей, причем как в сохранении доминирования сербских словообразовательных элементов над иноязычными, так и в тенденции к стабилизации состояния при перегруппировке появившейся в последнее время идиолектной и субстандартной лексики в стандартные идиомы сербского языка. Уже сейчас оказывается более стабильным использование рассмотренных новых словоформ в языке профессии и в профессиональных лексемах. В плане стилистики появившиеся маркированные словоформы с префиксами *не-* и *анти-* функционируют как единицы с мощным стилеформирующим действием, причем отрицающие префиксные форманты новейшего времени сохраняют преемственность с лексическими слоями сербского языка более ранних периодов⁴.

В корпусе новых слов на семантическом поле степени проявления признака отмечено не только увеличение словоформ продуктивного словообразовательного типа с формантами сербского происхождения в препозиции типа *велико-*, *високо-*, *ниско-*, *полу-*, *пре-* и *средње-*, но и возрастание числа словообразовательных типов с иноязычными словообразовательными формантами типа *мега-*, *ультра-*, *мульти-*, *хипер-* и др. В обоих случаях продуктивность и открытость словообразовательных типов обеспечивают усиленные процессы гибридизации, поскольку отсутствуют дистрибутивные ограничения в сочетаемости сербских и иноязычных словообразовательных конститuent. На усиление процессов словообразования в этом сегменте повлияли экстралингвистические факторы, а также необходимость количественной оценки во многих сферах вследствие резкого развития науки, экономики, политики, финансов, массовой культуры, спорта, музыки, эстрады, моды, рекламы, информационных систем и т.д. Поэтому данные словообразовательные типы реализуются, в основном, как система, открытая для пополнения потенциальной лексикой. Они находят свою прочную опору в языке СМИ и в социолектах (во всех видах жаргона) и вливаются в литературный язык чаще всего через профессиональные жаргоны и профессиональные лексемы (ср. [9. С. 150–151]). Это словоформы типа: *великобироократија*, *великобошњааштво*, *великопотрошач*; *високоволтан*, *високоестетизиран*, *високопотентан*, *високопроточан*, *висококофистициран*, *високоразредно*; *нисколетећи*, *нисконаталитетан*, *нискотиражан*, *нискотонски*; *полубиће*, *полудебил*, *полузатослен*, *полујак*, *полулик*, *полулопвчић*, *полуреченица*, *получизма*; *прејадан*, *прејарки*, *прелибералан*, *преопасан*, *преразуман*, *преуљудан*, *прелакомислено*, *пренежно*; *средњежалостан*, *средњесталешки*, *средњокласни*; *ултра-јубиларан*, *ултракатолик*, *ултраконзервативац*, *ултра-*

⁴На основании наших исследований в области лексического отрицания частицы *не* и префикса *не-* в различные периоды развития современного сербского языка, проведенных до настоящего времени, можно создать «модель жизненного цикла этого лексического знака», в основании которой находилось бы представление о важнейших этапах динамики его развития, а также возможность прогнозирования его будущего развития в сербском языке [4. С. 223–233; 5. С. 147–158; 6. С. 99–110; 7. С. 521–528; 8]. О теоретическом значении понятия «модель жизненного цикла знака» и о его использовании в неолексикологических исследованиях см. [2. С. 397–403].

мини, ультрафеминисткиња, хипер-актуелан, хипердинамичан, хиперосетљив; мега-смрт, мега-бенд, мега-звезда, мега-инфлација, мега-филм; мултимедијалност, мултиверски, мултимотивисан, мултирасни, мултистандардан и др.

По сравненју с недавњег ситуацијом повишену продуктивност и усиљени процес гибридације демонстрирују словообразователне форманте со значењем интенсификације *пре-* и *високо-*, причем у експресивно маркираних префиксалних и сложних прилагателних и наречјих. На овом семантичком и стилистичком пољу у корпусу нових речи такође сусрећу се словообразователне форманте инојезичног порекла, но с неоднородном дистрибуцијом типа *мега-*, *мулти-*, *уltra-*, *хипер-*, које се приједињавају, у том броју, и к српским речима и које захваљујући усиљеном процесу гибридације обезбеђују себи место у лексичкој системи српског језика. Можемо предположити, да ови инојезични словообразователни елементи појављују на губитак продуктивности словообразователним типом са елементима *велико-* и *веле-*, о чему у Речнику Српске Академије наука и уметности сведоче мноштво сложених речи (см. [10]).

У српском језику паралелно са словообразователним процесом интенсификације долазе до изражаја процес деинтенсификације, различитог слабења садржаја, што у корпусу нових речи потврђује висока продуктивност деинтенсификатора *полу-*. Овај деинтенсификатор, означавајући неодређену, прелазну степен при слабењу садржаја типа 'и тако, и сјај', представља најбоље језичко средство за пренос социјалне и економске неизвесности, која у нашој стварности стално се усиљује.

Продуктивност указаних српских и инојезичних форманти при образовању префиксалних и сложних речи у најновијем периоду развоја српског лексика одражава се у непрекинутости процеса захваљујући процесу гибридације.

У плану деривације развоја лексика српског језика праћено је синхронним усиљењем процесу мутације, модификације и транспозиције. Напомињемо продуктивност суфикса иностранног порекла типа *-фоб(ија)* (*акрофобија, албанофоб, албанофобија*), *-филија, -оидан* (*амебоидан, аристократиодан, брзоидан, кретоидан*), а такође повишена прилагодљивост инојезичних речи, изражавајућа се у постојању развијених деривационних гнезда и у усиљеним процесу гибридације.

Продуктивност моционих суфикса повишена је у сфери женских професија, што показују примери типа *адвокаткиња, академичка, активисткиња, алхемичарка, аматерка, амбасадорка, багеристкиња, басисткиња, барменка, боксачкиња, вероуверљивкиња, пилоткиња, другарица, хокејашкиња, шахисткиња, регруткиња, рокиркиња, специјалисткиња, стреличарка, стручњачкиња, таксисткиња*. Порасло бројем постојећих, називајућих носитеља карактерних особности, постојања и делатности⁵, што представља са собом секундарно појављивање усиљеног, са одређеном тенденцијом и правцем померања постојећих из сфере професија, звања, процеса, карактерног за мноштво модерних језика. Овај померање било је изазвано, у првој реду, социјалном, а затим и језичком политиком, која заснива се на идеји, провозгласившеј једнакост пола. Померајуће постојеће, у основи, потврђују се у корпусу јединичним примером, причем често из периодичне штампе, а ређе свега – из модерне прозе, и стога могу бити однесени к случајним или жаргонизмам. Међутим они представљају интерес са тачке гледишта словообразовања и социјалингвистике. У првом случају јасно је, да у овим постојећим

⁵ Обосновање традиције овог словообразователног типа у сфери означавања носитеља карактерних особности, постојања и постојања, продемонстрираном у плану дијахронии, см. [11. С. 149–185]).

тельных категориальное грамматическое значение нейтральных имен мужского рода автоматически вызвало выведение продвигаемой формы и вне сферы носителя профессии, звания и т.п. Так, благодаря игре языковых закономерностей и индивидуальной креативности в языке образно отразилась современная повседневность маргинальных женских ролей и женских нравов, экстралингвистическая действительность, в которой представительницы женского пола появляются как *актерице*, *стручњакиње*, *професионалке*, или *аматерке*, *забављачице*, или же *безвезнице*, *кретенке*, или *кликерашице*, *лобисткиње*, *махерице*, *пропагандистице* (*пропагаторке*), опять-таки *морализаторке*. Они и *гастајбатеркиње*, *забавњаче*, и *народњакиње*, *пеџачице*, *левичарке*, *маштарке*, и *френдице*. Они вполне могут конкурировать с представителями мужского пола и в некоторых пороках, плохих чертах характера – как, например, *фалсификаторке*, *фрајерице*, *факирке*, *сифилистичарке* и др.

При представлении словообразовательных процессов на материале корпуса новых слов сербского языка в данной работе из семи словообразовательных особенностей, предложенных для демонстрации системных аспектов неодеривационного процесса, из-за ограниченности корпуса, а также других методических и технических ограничений, представлены только два аспекта: 1) отношение между частями речи основных и производных единиц; 2) отношение между словообразовательными типами новых слов и их основ⁶.

Так, при рассмотрении словообразовательных инноваций по частям речи отмечен большой приток новой лексики и продуктивность отдельных словообразовательных типов. Среди существительных находим примеры типа *амбалажер*, *амблематика*, *анонимац*, *багателизација*, *брутализација*, *ватротворац*, *вирусоноша*, *свашточинька*, *серилизација*, *системаш*, *скорбуташ*, *смртоносје*, *снахоубица*, *снобовдук*, *спрдач*, *таложииште*, *хашишар*, *хорорист*; отглагольные существительные *акцијашење*, *реџетовање*, *џаминизирање*; абстрактные существительные *алузивност*, *почетност*, *самство*, *страност*, *трезност*, *трулежност*, *узмуваност*, *уозбиљност*, *ућуталост*, *филозофичност*. У прилагательных это примеры следующих типов: *науковит*, *тањираст*, *устаст*; *тиктакав*, *тмаст*, *ћаскав*, *џомакв*, а наречия, появившиеся в результате транспозиции прилагательных, представлены, в частности, следующими примерами: *брзовито*, *топлински* и др. Среди глаголов значительно меньше новых слов, которые при этом являются отдельными случаями, а не продуктивными словообразовательными типами, например, *академизовати*, *аматеризовати*, *амбасадоровати*, *анонимизирати*, *брежљукати се*, *логицирати*, *рогљати се*.

При деривации существительных развитие сербской лексики сопровождается синхронным усилением процессов мутации (что заметно в постоянном увеличении числа дериватов представителя профессии, субъекта действия и носителя характерных особенностей), модификации (усиленная активность моции в сфере женских профессий и охват деминутивностью все новых групп существительных) и транспозиции (постоянный рост количества абстрактных существительных, усиление продуктивности их словообразовательных типов и увеличение числа отглагольных существительных). Здесь представлены многие продуктивные словообразовательные типы, однако инновации появляются и у основной части словоформ независимо от того, именуют ли они новую реалию современного окружающего мира или же без ограничений вводят отдельные группы слов – в обход еще сегодня действующих правил – в определенные словообразовательные типы. Среди новых существительных находим многочисленные группы со значением

⁶ О словообразовательных особенностях, при помощи которых демонстрируются системные аспекты неодеривационного процесса, см. [2. С. 393]. Для обнаружения указанных закономерностей рекомендуется создавать контрольные эмпирические базы данных на корпусе текстов определенного периода языкового развития, в котором предполагается определенный рост новой лексики (ср. [2. С. 394]).

‘представитель профессии и носитель характерных особенностей’, затем следует большое число абстрактных существительных и близких к ним отглагольных существительных и, наконец, в меньшем количестве существительные со значением вещи, предмета и других конкретных реалий.

Заметно усиление экспрессивизации⁷ у всех существительных, кроме тех, которые обозначают вещи или предметы. Весьма значительное число новых абстрактных существительных, пришедших из различных интеллектуальных сфер, а также очень большое количество стилистически маркированных существительных разговорных идиомов городских социальных групп⁸ говорит о том, что языковое творчество в области лексики развивается параллельно в процессах интеллектуализации и жаргонизации языка.

Многочисленные новые словоформы отглагольных и отдельных абстрактных существительных, например, дериваты с суффиксом *-изация*, указывают на постоянное усиление процесса номинализации, отмеченного и в предыдущие фазы развития сербского языка.

У недавно появившихся прилагательных отмечаются все продуктивные типы словообразования, а инновации являются в расширении дистрибутивного потенциала основы вне зависимости от того, идет ли речь о дериватах или о сложных словах. Это показывают и следующие примеры: *сандучаст, устат, бундеваст, ђонаст, капласт, квасаст, тањираст, чираст; софтверашки, софтверски, удружењски, комуњаристички, лустерски, храмски; андроцентричан, спермалан, сифиличан, табуиран, уживљајни, заокретни, заскочни, јајетни, јогуртни, стриповни, астални, сладоледни; амебоидан, аристократоидан, кретеноидан; дубоковид, звонолик, задњерадни, лакогласан, клемпоух, бресколик, косматорук, ускосебичан мафиократски, осрбљен, онебешен.*

Хотя в сербском языке инновации чаще всего возникают у существительных и прилагательных, но в меньшей мере они присущи и наречиям. Так, отмечаются наречия с необычными основами – *мравињасто, зглобасто, гњавежно, каскаво, стресогено, шенгенски*, выполняющими функцию модификации прилагательного. Намного больше новых наречий не деадъективного, но десубстантивного происхождения. Они появились в результате универбизации предложно-падежной синтагмы, вызванной экономией языковых средств. Это наречия типа *индексно* – от *индекс* – ‘при помощи индекса или зачетной книжки’, *скицозно* – от *скица* – ‘в виде эскиза’; *филмично* – ‘при помощи фильма или пленки’; *играчки* – ‘в смысле игры’; *стриповни* – от *стрип* – ‘как в комиксе, типа комикса’; *трагедијски* – ‘словно в трагедии, трагичным способом’.

У глагольной лексики инновации появляются значительно реже и не выходят за рамки регулярных словообразовательных типов. При этом ни в плане словообразовательных элементов, ни в плане словообразовательных типов эти инновации не усиливают продуктивность и открытость парадигматического ряда. Большинство глагольных инноваций относится к окказионализмам десубстантивного происхождения и иллюстрирует идиолектную креативность в использовании словообразовательного потенциала типа *рогљати се, искурирати, рутинизирати, табуисати, брежуљкати се, истигрити се, наклавирити се, спермирати, спрејати, цепирати, убубрежити се, ујастучити, омужевити*. Меньшинство же глагольных инноваций демонстрирует, что продолжается тенденция деминуирования глаголов – явления, постоянно сопровождающего развитие лексики сербского языка, как, например, *олакашнути, гуткати, дрхтуцкати, спавкати, ђо-пуцкати, брежуљкати се*. Примеры десубстантивных глаголов *амбасадоровати,*

⁷ О процессе экспрессивизации и о экспрессивной лексике в сербском языке см. [11].

⁸ О расслоении лексики сербского языка см. [12], а о различных слоях новых слов и об их изменяемом статусе в динамике лексического развития (неологизмы, окказионализмы и потенциальные слова; затем жаргонизмы, разговорная лексика и недавно заимствованные слова) см. [2. С. 395–397] и [13. С. 443–446].

аматеризирати се, фашизирати, шанковати, кибларити представляют собой инновации как с точки зрения социолингвистики, так и словообразования. Со стороны словообразования эти примеры могут вызвать продуктивность нового словообразовательного типа – производство глагольных дериватов от первообразных существительных, обозначающих представителя профессии или исполнителя действия, как правило, иноязычного происхождения и вводящих в сербский язык наименование новых профессий и иное содержание, которое обусловлено действующими в данный момент социальными, культурными и прочими условиями жизни и работы. Меньшее число новых глаголов имеют или девербативное происхождение типа *одљубити се, срлати се, усапунати, устуцати, полусмехнути се, полусмешкати се, полушаптати*, или же деадъективное происхождение типа *опакоћавати се* и *узнојавати*.

Таким образом, ясно, что новейшие и наиболее продуктивные процессы касаются в первую очередь существительных, затем прилагательных и наречий, а у глаголов эти процессы проявляются в весьма слабой форме.

На основании суммарного обзора словообразовательных процессов на материале корпуса новых слов сербского языка можно сделать вывод, что значительное количество новой лексики появляется на фоне усиления процессов интеллектуализации и жаргонизации, протекающих параллельно и без резких границ в условиях новейшего периода развития языка. Корпус новых слов показывает, что такое взаимное приближение процессов развития, удаленных друг от друга, возникает вследствие урбанизации языка, роль которой в языковом развитии может стать предметом отдельного разговора. Продуктивность одних и тех же словообразовательных типов в каждом из этих процессов только еще сильнее размывает и без того нестабильные границы между функциональными стилями и языковыми идиомами. Проходимость лексики через границы различных функциональных стилей и по пути «престижный идиом – непрестижный идиом» значительно ускоряется, что создает условия для стабилизации лексической нормы в перспективе дальнейшего развития. Примеры, которые дает корпус новых слов, в большинстве своем стилистически маркированы и относятся к жаргонной и субстандартной лексике, к лексике субязыковых идиомов. В новейший период развития сербского языка данная лексика выделяется в особый лексический слой, в появлении которого важную роль сыграл процесс урбанизации лексики сербского языка. На противоположном конце этого процесса, параллельно с усилением жаргонизации, происходит усиленный процесс интеллектуализации языка.

Репрезентативная выборка из корпуса новых слов сербского языка⁹, в основном, дает вторичную лексику: неологизмы, окказионализмы и потенциальную лексику, которая представляет собой некий вид индивидуальной креативности и «экспериментаторства» со словообразовательным, морфологическим и семантическим потенциалом сербского языка, причем как в сегменте сербских, так и в сегменте заимствованных словообразовательных элементов. Лексические единицы из сегмента заимствований демонстрируют повышенную способность к адаптации, что в случае их усвоения носителями сербского языка является естественной реакцией на увеличение интернационализмов и англицизмов, которые в современных условиях воспринимаются как законный способ обогащения лексики сербского языка. Очевидно и то, что усиленный процесс гибридизации снижает эффект ныне активного процесса интернационализации лексики, что в сербском языке, наряду с другими способами, сохраняет преимущество сербских элементов над иноязычными. В то же время оба процесса взаимосоздают благоприятные условия для более стабильного развития сербского языка, делая язык более

⁹ О критериях для отбора новых слов и о параметрах их автоматической обработки см. [2. С. 395].

открытым для инноваций во всех сегментах духовной и материальной культуры и богаче для функционально-стилистической и идиолектной вариативности.

Обзор словообразовательных типов и формантов показывает непрерывность лексических инноваций, берущих свое начало и отмеченных в более раннем периоде языкового развития – от шестидесятых годов до конца XX в. Одновременно отмечается ускоренный рост лексики определенных словообразовательных типов, количества типов серийных образований с сербскими, но в первую очередь – с иностранными словообразовательными элементами, а также неограниченные возможности для создания потенциальной лексики для пополнения их открытых рядов. Все это указывает на расширение потенциала соединимости словообразовательных элементов и на уменьшение дистрибутивных ограничений на их сочетаемость. Если смотреть в целом, то с точки зрения морфологии, семантики, социолингвистики и нормы обзор новейших явлений в словообразовании указывает на перспективы развития языка в предстоящий период. Последние тенденции в развитии лексики сербского языка указывают на то, что лексический уровень представляет собою центр языковой надстройки, именуемой термином «интеллектуализация» языка. Сама же языковая надстройка, как уже установлено, основывается на аутентичных сербских языковых моделях и потенциалах, не взирая на усиленный процесс лексического заимствования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Оташевић Ђ.* Електронски корпус нових речи српског језика. Београд (в печати).
2. *Полицарпов А.А., Кукушина О.В., Токтонов А.Г.* Проверка теоретически предсказанных неодериватологических закономерностей данными русской корпусной неодериватографии // Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к XIV съезду славистов. М., 2008.
3. *Bugarški R. Žargon.* Lingvistička studija. Beograd, 2006.
4. *Ристић С.* Конкуренција неких лексичких и граматичких средстава у градирању прагматичке квантификације // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 2000. Књ. 29. Св. 1.
5. *Ристић С.* Неки аспекти функционалног раслојавања језика на лексичком нивоу // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 2004. Књ. 32. Св. 1.
6. *Ристић С.* Још нека запажања о негацији и негирањем именицама // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 2004. Књ. 33. Св. 1.
7. *Ристић С.* Речи са негацијом у дијалекатском речнику Загарача // Зборник посвећен Драгу Ћупићу. Београд, 2008.
8. *Ристић С.* Неке најновије појаве у развоју лексице српског језика (на примеру твореница са префиксима *не-* и *анти-*) // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 2009. Књ. 38. Св. 1.
9. *Ђорић Б.* Творба именица у српском језику / Библиотека «Књижевност и језик». Београд, 2008. Књ. 24.
10. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1959–2006. Т. 1–17.
11. *Ристић С.* Експресивна лексика у српском језику (теоријске основе и нормативно-културолошки аспекти) // Библиотека «Монографије». Београд, 2004. Књ. 1.
12. *Ристић С.* Раслојеност лексице српског језика и лексичка норма // Библиотека «Монографије». Београд, 2004. Књ. 4.
13. *Скляревская Г.Н.* Современная русская лексикография: достижения и лакуны // Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к XIV съезду славистов. М., 2008.



ИЗ СЛОВАРЯ «СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

Публикуемые в настоящей подборке предварительные версии словарных статей¹, предназначенных для последнего, пятого тома словаря «Славянские древности» (т. 1 – 1995; т. 2 – 1999; т. 3 – 2004; т. 4 – 2009), посвящены низшей мифологии славян – одному из важнейших фрагментов архаической картины мира. Этой теме уделено весьма заметное место в уже изданных выпусках словаря, где дается представление не только о персонажах народной демонологии, их облике, типичных занятиях, вредоносных действиях, применяемых людьми способах защиты от них (ср. статьи Банник, Берегини, Босорка, Вампир, Ведьма, Вештица, Вила, Водяной, Волколак, Двоедушники, Домовой, Духи атмосферные, Духи домашние, Духи локусов, Здухач, Змей, Змора, Кикимора, Колдун, Ламя, Мавка, Марена, Ночницы, Покойник «заложный», Русалка, Оборотничество, Оберег, Подменыш, Порча, Сглаз и др.), но и обо всем комплексе мифологических представлений о мире: о демонических или сверхъестественных свойствах растений (ср. статьи Бузина, Вербa, Омела, Осина, Разрыв-трава), и животных (Змея, Кукушка, Мышь, Паук, Петух, Пчела), мифологии природных явлений (молнии, грома, дождя, ветра, засухи, радуги, огня, воды, солнца и луны, единиц времени и др.), людей (ср. Инородец, Кузнец, Мельник, Музыкант, Охотник, Пастух, Повитуха, Ребенок внебрачный и др.), болезней (Бессонница, Лихорадка, Оспа, Холера и др.), праздников (ср. Иван Купала, Святки) и т.д. и даже христианских персонажей – так называемых «святых-демонов» (см. Герман, Касьян, Люция, Пятница, Святые и др.).

В словаре представлены как общеславянские, так и некоторые ограниченные в своем распространении персонажи и мотивы народной демонологии (см. Босорка, Богинка, Перхта, Полудница и др.), как относящиеся преимущественно к устной фольклорной традиции, так и восходящие к книжной христианской и апокрифической традиции (см. Алконост, Бес, Василиск, Див). Помимо словаря, эта проблематика широко представлена в других работах коллектива авторов – монографиях и статьях. См. прежде всего монографию Л.Н. Виноградовой «Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян» (М., 2000), а также библиографию «Славянская этнолингвистика» (М., 2008. Изд. 2). В настоящее время готовится к изданию систематизированная коллекция мифологических текстов из «Полесского архива», хранящегося в Институте славяноведения. Тесты записаны участниками полесских экспедиций 70-х и 80-х годов прошлого века, работавших под руководством Н.И. Толстого, а также их последователями и коллегами из других научных центров. Составители и комментаторы данного свода – Л.Н. Виноградова и Е.Е. Левкиевская. Первый том этого труда находится в печати.

СТРИГА, стригонь – мифологический персонаж, известный в поверьях приморских областей Словении, Хорватии, Черногории, а также в Моравии, Словакии, южной Польше. По своим характеристикам сближается с ведьмой и

¹ См. «Славяноведение»: 1993, № 6; 1994, № 2, 5; 1995, № 3; 1996, № 5; 1997, № 4, 6; 1998, № 6; 1999, № 6; 2001, № 2; 2002, № 6; 2003, № 6; 2004, № 6; 2005, № 6; 2006, № 6; 2007, № 6; 2009, № 6. Работа выполнена в рамках проекта РГНФ 08-04-00053а.

колдуном, либо с «ходячим» покойником, вампиром, двоедушником. Славянские названия (словен. *štriga, štrija, štrigun*; хорват. *striga, štriga, štrigna, štrigo, štrigon*; черногор. *umpuga, umpužna*; морав. *striha*; словац. *striga, stryga, strigoň*; пол. *strzyga, strzygonia, strzygoń, strzyg*) восходят к лат. *striga* ‘колдунья’ и *strix* ‘сова ушастая, филин, мифическая ночная птица, вредящая новорожденным’ и имеют параллели в греческом, албанском, румынском языках. Редко встречающееся в украинских лемковских говорах *strīga* служит для обозначения ведьмы; тот же термин у украинцев Восточной Словакии – ночного мотылька [1. С. 117–118]. В западнославянские языки название было, по-видимому, занесено валашскими пастухами; зоной наиболее активного его бытования являются польские и словацкие районы высокогорного скотоводства – Подгалье, Орава, Бескиды, Спиш, Татры. К числу наиболее показательных относятся следующие характеристики стриги: по происхождению это люди-двоедушники, т.е. рожденные с двумя душами; они способны вредить людям и при жизни, и после своей смерти – насылают болезни, вредят беременным женщинам, роженицам, а также новорожденным младенцам; по ночам нападают на спящих людей, пьют их кровь, душат, давят; портят домашний скот, отбирают молоко у коров и овец, забирают в свою пользу урожай злаков с чужого поля; вызывают стихийные бедствия, бури, град.

В поверьях Ю ж н о й С л а в и и женский персонаж (*striga, štriga*) чаще всего характеризуется как ведьма, т.е. это реальная женщина, обладающая неким сверхзнанием, которое ей достается либо при рождении, либо приобретается ею из-за связи с нечистой силой. Считалось, что она могла превратиться в животное или насекомое, отобрать молоко у коров, насладиться порчу и болезни на людей и скот (Истрия, о-в Брач, о-в Хвар). Отправляясь ночью вредить людям, стрига оставляет свое тело спящим в доме, а «духом своим» летает по чужим дворам [2. С. 6]. Ей приписывалась способность насылать непогоду, бури и стихийные бедствия. Чтобы вызвать градобитие, стриги летали ночью верхом на метле на высокую гору, где «толкли град» (хорват., Каставский край). При приближении к селу градовых туч мужчины стреляли из ружей, чтобы отогнать *štriju* (вост. Словения). По ночам стриги нападали на грудных детей, пожирая их сердца (которые они доставали из груди младенца с помощью особой волшебной веточки) или высасывая кровь. В виде мерцающих огоньков, стриги преследовали ночных путников, пугали их, заводили на бездорожье [3. С. 209]. Как женщина в белом стрига являлась по ночам овчару, пасущему в горах овец; если тот догадывался перекреститься и вывернуть одежду наизнанку, то она убежала (зап. Хорватия). Обернувшись козами, эти вредоносные духи смешивались с животными сельского стада и вредили скоту и пастухам.

Особенно опасными они были в определенные календарные периоды. Например, считалось, что все стриги в ночь накануне Иванова или Петрова дня слетаются в тех местах, где люди не жгут обрядовых костров. Кроме того, время их активизации приходилось на *kvatrenice* (особо почитаемые четыре недели в году, называемые *kvatre*, когда принято было поминать умерших и соблюдать самый строгий пост; они отмечались в начале Великого поста, после троицкого воскресенья, после Воздвиженья и как третья неделя адвента). Ночи всех «кватрных недель» считались временем разгула стриг.

Стригами могли быть и мужчины, тогда их называли *strigo, štrigo, štrigon* и считали вредоносными колдунами. Например, по свидетельствам из хорватской Истрии, *štrigo* – это человек, который родился в «рубашке» или с маленьким хвостиком. Чтобы ребенок в дальнейшем не стал опасным колдуном, баба-повитуха должна была сразу после родов порвать «рубашку» и прокричать, стоя в дверном проеме: «Rodijo se jedan štrigo!» («Родился стригонь»), тогда он потеряет колдовскую силу и станет обычным человеком [4. С. 145]. По словенским верованиям, стригонь рождается с двумя душами, одна из которых вылетает из тела спящего мужчины, чтобы по ночам вредить людям. Еще более опасным становился такой

человек после своей смерти. Чтобы «мертвый стригонь» не ходил после смерти, при похоронах ему протыкали горло гвоздем. В западной Хорватии верили, что *štrigon* нападает на грудных младенцев, пьет их кровь. Когда умирали новорожденные дети, это объясняли тем, что *ih kolje strigo* (их убивает стригонь). В словенских быличках «штригон» часто выступает как противник, вступающий в схватку с героем—защитником людей – *Krstnikom*.

В западнославянской демонологии под сходными названиями (стрига/стригонь) выступают две группы персонажей: женский совпадает по основным признакам с образом ведьмы, а мужской – с образами то колдуна, то «ходячего» покойника.

С л о в а ц к и й термин *striga*, служит для обозначения женщины, которая с помощью магии вредит скоту, насылает болезни на людей, портит урожай, вступает в связь с нечистой силой; а также используется по отношению к неким мифическим существам, которые преследуют рожениц и их новорожденных детей, способны подменить младенца на своего ребенка-уродца, нападают на беременных женщин, проникают в их утробу и губят зародыш [5. S. 385]. В словацких судебных актах «ведовских» процессов XVII в. (относящихся к территории среднесловацкой обл., р-н Крупника) ведьм называли *striga* и обвиняли их в умении *stridžit'* (колдовать). В некоторых селах северной Словакии стриге приписывались свойства душить по ночам спящих, наваливаться на них, давить своей тяжестью, что более характерно для вредоносного ночного духа, именуемого «змора». Временем активизации стриг считались у словаков четыре недели предрождественского поста, ночь перед Страстной пятницей, Юрьев день, а также канун дня свв. Филиппа и Якуба (1 V). По народным поверьям, в период со дня св. Люции до Рождества каждую ночь стриги сходятся на перекрестках дорог, где они танцуют, устраивая совместные гулянья [6. S. 128]. Вообще все адвентные праздники (дни свв.: Катерины – 25 XI, Андрея – 30 XI, Варвары – 4 XII, Николая – 6 XII, Люции – 13 XII, Томаша – 21 XII) назывались у словаков *stridžie dni* 'дни стриг' [7. S. 22]. В эти дни после захода солнца пастухи совершали ритуальные обходы домов, громко щелкали бичами, трубили в пастушьи рога, чтобы «отогнать стриг от села». Самым опасным в период адвента считался день св. Люции, о которой говорили, что она покровительствует всем ведьмам, поэтому в ее день стриги и другая нечисть чаще всего могли навредить людям. К этому дню было приурочено множество оберегов от стриг и магических приемов по их распознаванию. Женщинам запрещалось в этот день ходить к соседям в гости, чтобы их не сочли за «стригу» [8. S. 161]. Согласно представлениям жителей верхнего течения р. Грон, мифические существа, именуемые *striga*, нападали на овечьи стада во время их выпаса на высокогорных пастбищах, портили молоко, вызывали болезни скота, вредили овчарам. В связи с этим люди верили, что каждый «бача» (пастух-овчар) тоже должен был быть «стригоном», т.е. колдуном, иначе он не мог бы с помощью магии должным образом защищать стадо от злых духов [9. S. 288]. О словацких стригах-колдуньях рассказывали, что они способны вызвать проливные дожди, ураганы, выпадение града, уничтожить посевы злаков, перенимали в свою пользу молочность чужих коров, насылали порчу на людей. Отбирая молоко, стрига оборачивалась жабой или котом и сосала коровье вымя; либо рано утром в день св. Яна на месте выпаса сельского стада волочила полотно по траве, собирая росу, а затем выжимала ткань и поила этой влагой свою корову.

Реже у словаков встречаются поверья о «стригонах»-мертвецах. В некоторых селах северо-восточной Словакии рассказывали, что тот покойник, которого из дома вынесли не ногами вперед, а головой, становится «стригоном», выходит ночью из могилы и досаждал живым.

В польской демонологии основное значение терминов *strzyga/strzygoń* – 'вампир, упырь', 'ходячий покойник' [10. S. 252]. Такие названия используются по отношению к «нечистым» покойникам в поверьях Малопольши,

Краковского воевод., Подгалья, Высоких и Низких Бескидов, Верхней Силезии (Ополе, Живецкое в.); реже – в Серадзском крае и Радомском воеводстве. Происхождение стриг и стригоней, по польским верованиям, связано с особой категорией умерших людей-двоедушников: если младенцу, рожденному с двумя душами, дали только одно имя, то окрещенной оказывается лишь одна душа, а вторая – некрещеная – становится злым духом, который вынуждает покойника выходить из могилы и вредить людям. Считалось, что стригонь «живет вторым духом», навещает своих родственников или односельчан, пьет их кровь, пугает ночных путников, своим смертоносным дыханием убивает все живое. Вместе с тем, если стригонем был при жизни хозяин дома, то после смерти он старался помогать своей семье: выполнял тяжелую работу по дому, рубил сечку, молот муку, наводил порядок во дворе, чинил ограду, кормил скотину и т.п. (краков.). Наиболее злокозненным и опасным предстает стригонь в поверьях гуралов Подгалья и польского Спиша. Его ночные визиты к родным неизбежно приводят к их гибели: он проникает в свой дом, пьет кровь спящих, сосет грудь женщин, кусает их, душит. Для прекращения подобных визитов люди использовали целый ряд отгонных средств и оберегов. По единичным польским верованиям, ребенок, рожденный с двумя рядами зубов, после смерти становится «стригой» и выглядит как младенец с крыльями совы либо как филин; эти существа не вредят людям, а лишь своим жалобным писком предсказывают их близкую смерть (краков.).

К категории стриг могли причисляться и некоторые живые люди, если они рождались с двумя душами или сердцами. По одним поверьям, при жизни они не причиняли никакого вреда; часто даже и не подозревали о своих особых свойствах. По другим – вторая (не окрещенная при рождении) душа становилась демонической, покидала тело спящего двоедушника и летала по чужим дворам, чтобы вредить односельчанам. Живых стриг и стригоней можно было распознать по ряду примет: они рождались с зубами или, вырастая, имели двойной ряд зубов; в зрачках их глаз все существа и предметы отражались в перевернутом виде; у них либо не было бровей, либо густые брови срастались на переносице; на спине обнаруживалось родимое пятно в виде ножниц (живец.). По-настоящему опасным становился такой двоедушник после смерти, его называли *zębata strzyga*, т.е. «зубатой стригой» [11. S. 279].

Стригой (*strzyga*) в польских поверьях называется также женщина-ведьма, которая вредит молочному скоту, отбирая у него молоко; проникает в овечьи загоны на горных пастбищах, пугает животных, выдаивает их, насылает порчу. Заслышав ночью бляение в кошаре, овчары бежали с освященным кнутом и били им по перекладинам загона, чтобы «стригу отогнать». Стрига-ведьма нападала и на людей, особенно на грудных младенцев, пила их кровь, мучила по ночам. В поверьях польского Спиша *strzyga* отождествляется с персонажем, именуемым *bosiorka*, т.е. ведьма [12. S. 433]. В селах Живецкого воеводства этот персонаж приобретает признаки ночного духа, «зморы», который душит по ночам спящих людей. Считалось, что польские стриги (как и словацкие) становятся особенно вредоносными в день св. Люции или в последние две недели перед Рождеством. Во время рождественской службы в костеле люди имели возможность с помощью особых магических приемов распознать стригу-односельчанку.

© 2010 г. Л.Н. Виноградова, д-р филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кленикова Г.П. Семантика карпато-балканского **strig-* в свете характеристики некоторых мифологических персонажей («компонент движение») // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
2. Борђевић Т.В. Вештица и вила у нашем народном веровању и предању. Београд, 1953.
3. Mencej M. Coprnice so me nosile: Raziskava vaškega čarovništva vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana, 2006.

4. *Bošković-Stulli M.* Istarske narodne priče. Zagreb, 1959.
5. *Zajonc J.* Strigi, bosorky, bohyně a jiné ženy, ktoré «vedia» // *Žena z pohľadu etnologie.* Bratislava, 1998.
6. *Olejník J.* L'ud pod Tatrami. Martin, 1978.
7. *Horváthová E.* Rok vo zvykoch našho ľudu. Bratislava, 1986.
8. *Čičmany / Zost. E. Munková.* Žilina, 1992.
9. *Horehronie: Kultura a spôsob života ľudu.* Bratislava, 1969.
10. *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1911. T. 6.
11. *Brückner A.* Mitologia słowiańska i polska. Warszawa, 1980.
12. *Podgórcy B. i A.* Wielka księga demonów polskich: Leksykon i antologia demonologii ludowej. Katowice, 2005.

ЧЕРНОКНИЖНИК – человек, который приобрел сверхзнание и колдовское умение благодаря изучению магических книг («черной магии»). У восточных славян причисляется к категории особенно «сильных» колдунов; у словаков, чехов, кашубов, украинцев карпатской зоны, словенцев и хорватов – к группе «знающих» людей, способных управлять тучами. В мифологии гуцулов слово *чернокнижник* может обозначать также персонажей нечистой силы, черта, умершего колдуна. В словацкой этномологической лексике *černokňažník* обозначает бабочку (ипостась души или ведьмы).

Вера в чернокнижников обусловлена народными представлениями о магической силе письменного слова, а также о книге как предмете, с помощью которого можно творить волшебство. В средневековых славянских памятниках словом *чернокнижие* обозначаются разнообразные занятия магией, а к чернокнижникам причисляются все, занимающиеся колдовством, а также люди, владеющие грамотой, имеющие в своем распоряжении рукописные сборники, гадательные книги, письменные тексты молитв и заговоров (ср.: «Чернокнижие – знахарство по стачке с нечистым, волхование, волшебство, колдовство, морока» [1. Т. 4. С. 596]). В XVI в. в чернокнижии обвиняли известного энциклопедиста и богослова Максима Грека. До XVIII в. за чернокнижие на Руси карали сожжением, ссылкой, заточением в монастырь (в «Воинском артикуле» (1715) и «Морском уставе» (1720) Петра I чернокнижники, наряду с отравителями и богохульниками, признавались преступниками, подлежащими смертной казни через сожжение). В начале XVIII в. в городничьей среде широко бытовали рассказы о чернокнижнике и колдуне Брюсе (Я. Брюс – придворный ученый, ему приписывается составление сельскохозяйственно-астрологического календаря).

Н а р о д н ы е н а з в а н и я персонажа основаны на понятиях ‘черная книга’, ‘черная школа’: рус. *чернокнижник*, укр. *чорнокнижник*, бел. *чарнакніжнік*, пол. *czarnoksiężnik*, словац. *černokňažník*, морав. *černokněžik*, словен. *črnošolec*, *črne šole dijak*.

По народным поверьям, статус самого сильного колдуна получает тот, кто изучил некую магическую книгу (*черная книга, черная магия, чорна мага, черномага, Черномагия, Čarodejná kniha, Bosorská kniha* и др.), которая содержит «не божьи» молитвы: «Ти, шо майстаршу науку знают, то они идут уже на чорнокнижникиў» (гуцул.) [2. С. 121]; «Вот така, шчо сатана заведвала, так зваласа чорная магія, а па-сельскаму казалі – чорная кніжка» (бел. брест.) [3. Т. 4. Кн. 2. С. 491].

Согласно русским легендам, «черная книга» хранилась на морском дне, под камнем Алатырем, пока один колдун не достал ее оттуда, и с тех пор она ходит по свету. По современной легенде из Рязанской обл., «черные книги» закрыл в башне Ленин, а новая власть «все раскрыла», поэтому вновь появилось много колдунов [4. С. 551]. В Рязанском крае рассказывали, что «черную магию» опасно

даже брать в руки, поневоле начнешь колдовать. Сотворил ее сам бес, а «апостол Павел все эти волшебные книги собрал и сжег», но потом «черная магия» появилась вновь [4. С. 551]. Поляки считали, что чародейная книга, называемая *Spiritus* или *Veritas*, написанная на непонятном языке (по некоторым сведениям – на древнееврейском) и замыкаемая на железные замки, есть у колдунов и пастухов. Эта книга служит для призвания дьявола. Если книгой воспользуется неподготовленный человек, это приведет к исчезновению книги и болезни или смерти читающего. По словацким поверьям, *Krištofová kniha* (ср. нем. *Christoffelsbuch*) помогает при «вычитывании» кладов, а книга *Zemský klúč* открывает гору с сокровищами.

По представлениям русских Рязанщины, в «черной книге» вместо букв на строках были наколоты точки; белорусы Гродненщины рассказывали, что в этой книге написано белым по черному. Колдуны читали «черную книгу», водя по страницам ключами, крутили ее у себя на голове (рус. рязан.). По поверью из Гродненской обл., «черную книгу» клали в гроб колдуну.

«Черную книгу» чернокнижник получал от нечистой силы, расписываясь своей кровью, и обязан был выучить ее наизусть: «Ежэлі чорну магію не ісполніць, то ёго [черти] задаўляць. Ежэлі не ісполніць эту ю кніжку – Чорнамагію, не довучыць, то ёго задаўляць» (бел. брест., зап. Е. Боганевой, 2003 г.). За право обладать «черной книгой» колдун должен был принести в жертву нечистой силе кого-то из своих близких: «Еслі чорну магію чоловік чытае і ідэ по пуця чорнамагіі, то він должон у перву очэрэды жэртву даты свого рідного там сіна чы внука, чы дочку, чы кого-то свого рідного» (бел. брест., зап. Е. Боганевой, 2001 г.). «Черная книга» – источник опасного знания: ее чтением можно было умертвить окружающих (рус. ярослав.). С помощью «Черной магии» колдуны учились находить цветок папоротника (бел. брест.). Считалось, что «черная книга» является достоянием семьи, передается по наследству (рус. воронеж., ярослав., бел. витеб., укр. ровен.): «Они читают черную магию, а потом перед смертью передают» [5. С. 189]. Иногда рассказывают, что чернокнижник наряду с «черной магией» имел вторую книгу – «белую магию», с помощью которой обезвреживал насланную порчу (рус. рязан., бел. гроднен.). В Полесье считали, что «настоящим» колдуном мог стать тот, кто изучил книгу «черной магии», которую в село принесли цыгане (брест., Олуш) [6]. Само изучение этой книги было крайне опасным: «Человек изучает черную книжку. Его чэрты, гадюки ноччу лякаюць. И кали ён не злякаецца [дочитает книгу до конца], ён буде ведьмаром» (брест., Спорово) [6]. Изучать ее следовало только по ночам, при свече, растянув чтение на целый год или на три года; если человек не выдержит всех испытаний – сойдет с ума (полес. брест., голем.). По полесским поверьям, читать книгу следовало не подряд, а после третьего стиха – сразу четырнадцатый (чернигов., Старые Боровичи) [6]; прочитавший книгу три раза, мог овладеть всеми колдовскими знаниями, но мог и сойти с ума (чернигов., Великая Весь) [6].

Чтение «черной магии» лишало чернокнижника здоровья, и он начинал чахнуть (рус. нижегород.), преждевременно седел (полес. чернигов.).

Чернокнижник как разновидность колдуна. По поверьям поляков Гродненщины, в результате прочтения «черной книги» (которая содержит «добрые» и «злые» знания пополам) колдун получал способность *zrobić* и *odrobić*, например – сделать молоко черным, а потом вернуть ему первоначальный цвет [7. С. 458]. Не только чтение, но и само владение «черной книгой» обеспечивало человека колдовским знанием. Наибольшим авторитетом среди односельчан пользовался тот колдун, который держал дома «чорну книгу»: «А без книжки – який же то колдун, то знахор!» (гоemel., Голубица) [6], или прочитал ее целиком (в полесской быличке «ворожейка» отказывается помочь соседу, мотивируя это тем, что она изучила лишь половину «черной магии», а он прочитал всю – чернигов., Хоробичи) [6].

Подобно колдунам, чернокнижники связаны с нечистой силой, *знаются с сатаной*, могут с помощью «черной книги» вызвать чертей (ср. сюжет русской сказки: чернокнижник читает книгу с начала – черти прибывают, с конца – уходят), но если такую книгу раскроет непосвященный человек, то к нему тут же «приступят множество дьяволов и начнут просить работы» и, если им не дать задание, могут задушить (рус.) [8. С. 575]; (кашуб.) [9. Т. 2. № 3020]. Когда родственники чернокнижника пытаются «молиться» по его книге, в доме начинается гроза (ю.-словац.) [10. S. 238].

Вместе с тем, к чернокнижнику (как и к обычному колдуну) люди нередко обращались за помощью: «Чернокнижники гадают на черну книгу: з чого чоловік більше, лечать [...] Можэ одробить, кому трэба, да и прыробляе тэж» (гомел., Комаровичи) [6]. В Западной Белоруссии считалось, что способности чернокнижника к добрым делам ограничены (например, вылечить он может только десятую долю болезни): «Чэрнакніжнік, як едзець хто да яго прасіць ратаваць, баліць там шчо ў яго, так гэты чэрнакніжнік усіх вылечыць не можэць. Ён толька вылечыць дзесятую долю. А дзевяць пушчаець на вецер. І гэты віхор тады круціць» (бел. гроднен., зап. Е. Боганевой, 2002 г.).

В нижегородских быличках рассказывается о чернокнижниках, которые морочили людей, насылая на них видения: «Чернокнижник сделает на дороге озеро. Идут бабы, мужики. Все с себя скинут, разголятся, тут он озеро-т уберет» [11. С. 217]. По представлениям словаков Оравы, чернокнижник мог явиться в образе монаха в капюшоне и завести людей в лесную чашу (Зуберец, зап. Е. Узенёвой, 2008 г.).

Считалось, что чернокнижника можно узнать по внешнему виду: у него длинные (ниже пояса) волосы (укр. закарпат.); он ходит всегда в черном; это «черный человек», читающий на скале большую книгу (словац., Орава, Земплин, Новоград); он не стрижет ногти, не расчесывает волосы, не молится Богу (рус. сургут.). Заговоры чернокнижника действуют год, в пасхальную заутреню их «подновляют» (т.е. прочитывают про себя во время церковной службы). Если в это время тронуть чернокнижника и сказать «Христос воскрес!» – он упадет замертво [12. С. 530]. После смерти его тело в гробу распухает, лицо краснеет (рус. воронеж.).

Чернокнижники могли обучать колдовству. Согласно рассказам из Словакии (Орава, Земплин), чернокнижник с учениками, время от времени превращаемыми им в голубей, живет в пещере, где хранит свои книги; срок учения составляет семь лет. Иногда ученику удавалось превзойти учителя: он тайком читал волшебные книги и научился превращаться в корову или коня, которых его отец выгодно продавал, а потом сын, превратившись обратно в человека, возвращался домой [10. S. 216–217].

Перед смертью чернокнижник должен кому-либо передать источник своих знаний – «черную книгу», а также демонов, которыми он управляет с помощью этой книги. Если он этого не сделает, то после смерти не будет знать покоя, постоянно возвращаясь в свой дом и требуя отдать ему магическую книгу [13. С. 314–315]. В словацкой быличке после смерти колдуньи люди бросили ее книгу в печь, и из трубы вылетел черный журавль [10. S. 238]. После смерти чернокнижник может превратиться в ходячего покойника. Чтобы предотвратить хождение после смерти, чернокнижника хоронили вниз лицом (с.-рус.).

Чернокнижник в роли человека, способного управлять тучами и стихиями. По поверьям словаков и карпатских украинцев, знания по управлению стихиями чернокнижник получает в «тринадцатой школе», где обучают магии. У словенцев и хорватов известны поверья о том, что люди духовного сана, священники, богословы после изучения священных книг учатся еще и в тайных «черных школах» (в «тринадцатой школе»), чтобы приобрести

способность вызывать и отгонять бурю. Их называли *črnošolci* ‘ученики черной школы’. Свои сверхъестественные способности водить грозовые тучи, насыпать град или предотвращать градобитие они приобретали благодаря владению особой книгой (*črnošolska bukev, kolomonova knjiga*). С ее помощью чернокнижник вызывал летающего змея, садился на него верхом и направлял тучи туда, где хотел сбросить град (Прежмурье) [14. S. 250–251]. В Штирии (окрестности Павловца) в 1882 г. после сильной бури, уничтожившей урожай на большой территории, люди обвинили местного священника, что он был чернокнижником и летал верхом на змее. Основанием была найденная в луже (якобы выпавшая из туч) «черная книга» (*črne latinske bukve*), которая принадлежала священнику [15. S. 274]. Одни считали, что священник-чернокнижник делает это потому, что вступил в сговор с сатаной; другие – что таким образом он наказывает прихожан за грехи; третьи утверждали, что град уничтожал урожай у тех хозяев, которые в свое время отказали ему в просьбе одарить его хлебом, молоком и другой пищей.

В гуцульских легендах и быличках чернокнижники собираются в Карпатах на Черногоре, читают свои магические книги, замораживая воду и превращая ее в град; посылают бури на поля и села. В их распоряжении холодный, как лед, летающий змей, кусочки плоти которого они держат под языком, когда летают в жаркие края, где никто не может жить (пол., окрестности Живца; ю.-словац., Новоград). Украинцы Закарпатья верили, что чернокнижники, оседлав змея «шарканя», гонят его туда, где хотят побить градом поля. В Моравской Валахии, когда бушует вихрь, говорят, что колдун-чернокнижник выпустил дракона. *Чернокнижників, що град товчут*, гуцулы приглашают на рождественский ужин вместе с другими колдунами, «знающими», хищными зверями и другими для оберега посевов и хозяйства [16. С. 16–17]. У гуцулов отмечено также представление о чернокнижнике как о человеке, способном отворачивать градовые тучи. Сходные поверья известны у словаков в р-не Оравской Магуры, Словацких Бескидов. Словаки Оравы объясняли купальский обычай огораживать поля и посевы ветками деревьев от града тем, что когда-то чернокнижник, которому жители отказали в дарах, наслал на поля страшный град и только бедняку, который поделился с ним припасами, посоветовал огородить свой надел ветками калины [17. S. 223–224]. Чернокнижник приводит свои тучи на свет купальских костров, именно поэтому, по легенде, жители окрестностей Баньской Быстрицы отказались от обычая разжигать костры на Яна [17. S. 223].

Приходя в дом, чернокнижник требует молока от черной коровы или козы и яиц от черной курицы. Если ему отказывают или обманывают его, он наказывает – вырывает волосок у хозяйки и та заболевает (з.-словац.); насылает бешенство на корову (ю.-словац.); насылает тучу с молнией, которая сжигает снопы (ю.-словац.); снимает крышку с горшка, и вихрь срывает с дома крышу (ю.-словац.). Тем, кто привечает его, чернокнижник помогает приобрести богатство, сохраняет в поле снопы от грозы.

Иногда представления о чернокнижниках сближаются с демонологическими верованиями (по единичным свидетельствам, у гуцулов «чернокнижники» – это люди, продавшие душу дьяволу и творящие зло, упыри [18. С. 184]); или с мифологизированными представлениями о представителях иных конфессий: в Каргополье *чернокнижниками* называли бегунов-«скрытников» (последователей страннического старообрядческого согласия) на основании того, что они отправляли свои обряды тайно по ночам [19. С. 352]; на Буковине *чернокнижниками* или *пятникнижниками* называли верующих иудеев, потому что они «проповедовали веру другую», пользуясь своими книгами (Торой) (черновиц., Сторожинец, зап. О. Беловой, 2006 г.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979–1981. Т. 1–4.
2. *Онищук А.* Матеріали до гуцульської демонології. Записані у Зелениці Надвірнянського повіта, 1907–1908 // Матеріали до українсько-руської етнології (далее – МУРЕ). Львів, 1909. Т. 11.
3. Традиційная мастацкая культура беларусаў. Мінск, 2001–. Т. 1–.
4. Русские Рязанского края / Отв. ред. С.А. Иникова. М., 2008. Т. 2.
5. Этнография Центрального Черноземья России. Сб. научных трудов / Отв. ред. А.З. Винников. Воронеж, 2004. Вып. 4.
6. Полесский архив Института славяноведения РАН (Москва).
7. *Zowczak M.* Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Wrocław, 2000.
8. Русский демонологический словарь / Авт.-сост. Т.А. Новичкова. СПб., 1995.
9. *Krzyżanowski J.* Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1962–1963. Т. 1–2.
10. *Polivka J.* Súpis slovenských rozprávok. Martin, 1931. D. 4.
11. Мифологические рассказы и поверья Нижегородского Поволжья / Сост. К.Е. Корепова, Н.Б. Храмова, Ю.М. Шеваренкова. СПб., 2007.
12. *Власова М.Н.* Русские суеверия. СПб., 2000.
13. *Чулков М.Д.* Абевера русских суеверий. М., 1786.
14. *Möderdorfer V.* Verovnja, uvere in običaji Slovencev. Celje, 1946. Т. 5.
15. *Mencej M.* Coprnice so me nosile. Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana, 2006.
16. *Шухевич В.* Гуцульщина. Ч. 4 // МУРЕ. Львів, 1904. Т. 7.
17. *Horváthová E.* Rok vo zvykoch našho ľudu. Bratislava, 1986.
18. *Хобзей Н.* Гуцульська міфологія. Етнологічний словник. Львів, 2002.
19. Каргополье: Фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и присловья) / Сост. М.Д. Алексеевский, В.А. Комарова, Е.А. Литвин, А.Б. Мороз, Н.В. Петров; под общ. ред. А.Б. Мороза. М., 2009.

ШУЛИКУНЫ – в поверьях русского населения севера Европейской части России, Прикамья, Урала, Сибири, Дальнего Востока сезонные духи, которые накануне Рождества или Нового года выходят из воды на землю, а после Крещения уходят обратно в реки и проруби.

Т е р м и н о л о г и я : *шилїкун/шилїкун* (архангел., вологод., вят., камчат., олонец., перм., свердлов., сиб.), *чилиїкун/чилиїкун* (архангел., том.), *шалыган/шалыхан* (архангел., вологод.), *шулюкан/шулюкюн* (иркут., н.-индиг., прибайк., прииртыш.) и под. Этимология слова неясна. Более других вероятна версия о связи с коми-перм. *кулюшун* ‘водяной дух’ через перестановку звуков, а далее – с коми-зыр. *куль* ‘бес, черт’ из общеперм. **kul* ‘злой дух’. К последнему восходят рус. вологод. *куляш* ‘чертенок, водяной’, тобол. *куль* ‘черт’, которые, таким образом, состоят в дальнем родстве со словом *шилїкун*. Менее обоснованы тюркская и славянская версии происхождения этого слова [1. С. 700–701, 320]. Сходная терминология и поверья известны финно-угорским народам Европейской части России, тюркским народам Поволжья и Предуралья, а также якутам.

О п р о и с х о ж д е н и и шуликунов можно судить по единичным данным: ими становились проклятые родителями дети или загубленные матерями новорожденные (вологод.); *шулыканы* – это дети кикиморы; они рождаются в святочное время и в ненастную ночь вылетают через трубу на улицу; бегают в святочные ночи в виде черных чертенят с рожками на голове и с козлиными ногами (вологод.).

Согласно большинству поверий, шуликуны выглядят как маленькие человечки, с кулачок или чуть больше; редко появляются поодиночке, обычно их видят «ватагами», «артелями», «толпами», «скопищами» [2. С. 96; 3. С. 362]. Шуликуны могут носить одежды белого цвета (забайкал.). Часто отмечается, что отличительная черта этих персонажей – остроголовость (вытянутая кверху форма головы, либо на голове «чуб шишом», либо остроконечный головной убор). Им

приписываются железные атрибуты, а также связь с огнем: у них железные головы или шапки, они несут железные сковородки с раскаленными углями; «они, шуликины, из пролуби вылезут. У них всё залезно <железное> – и сани, и повозки, и кони залезны. В повозку складут <пойманных детей> и в пролубь увезут» (архангел.) [4]; «чиликуны едут на железной ступе, в ротах-то огонь» архангел.) [5].

Временем появления и исчезновения этих персонажей чаще всего называется период святок: они выходят из воды в Рождество или на Новый год (реже – в Игнатъев день, 20 XII, в день Спиридона Солнцеворота, 12 XII), а уходят на Крещение, до того момента, когда освящают воду в источниках: «Шулигины выходят из проруби на Игнатъев день, а в Крещенье уходят обратно. Игнатъев день был за пять дней до Рождества» [6. С. 22]. «А уедут-то чуликуны-ти на Крещенье. Когда окунут крест, цуликоны, говоря, сходя; на Крещенье всё кончается» [7. С. 63]. По некоторым данным, эти персонажи появлялись на святки только в ненастную погоду, во время метели, вьюги, снегопада: «Ветер сильный, всё замело – шалыганы приехали, закрывайте двери!» (вологод.) [5].

При характеристике поведения шуликунов отмечается, что они очень подвижны (бегают по улицам, суетятся, толкаются, мельтешат, скатываются с горок, толпятся возле проруби и на перекрестках дорог), им присущи особые способы передвижения (езды на конях, «на маленьких лошадках»; в санях или на одном полозе от саней; скачут или летают в железных ступах; скользят по снегу на волчьей шкуре; передвигаются, сидя на горячей печи, на ухвате, сковородке или кочерге). По одним поверьям, они не вредят людям и лишь «проказят» [2. С. 93]; по другим, более массовым свидетельствам, – считаются опасными, прежде всего для детей: пугают их, могут затащить в прорубь, колодец или баню; удавить, посадить на горячую печь; увезти с собой в воду; защекотать до смерти. Часто выступают в роли духов-устрашителей в формулах запугивания детей: «Шуликины в святочное время выезжают из проруби на конях в санях. Страшны, востроголовы, изо рта огонь, в руках каленый крюк, им загребают детей, кто в это время на улице» [7. С. 63]; взрослые грозили непослушным детям: «Вон шалыхины на коже едут, заберут тебя!» (архангел.) [5]. Реже считалось, что они представляют опасность и для взрослых: поселяются в святочные недели в заброшенных строениях, оттуда выходят по ночам целыми артелями, преследуя ночных путников, пугая их, заводя на бездорожье (вологод.). Шуликуны угрожают молодежи, засидевшейся на вечеринках, выкрикивая: «На кол девку, на копыл парня!» [8. С. 48].

Вместе с тем шуликуны часто наделяются признаками персонажей дартелей. На Русском Севере и Среднем Урале рассказывали, что они приносят детям подарки (деньги, конфеты). Накануне Рождества или Крещения родители говорили, что надо повесить во дворе «мешочки-кулечки», потому что шулигины будут в них класть деньги или подарки.

В поверьях о шуликунах иногда встречается мотив прядения и пряжи (ниток, шелка). Считалось, что если хозяйка не успеет допрясть куделью до святок, то шуликуны в наказание набросают в дом железные веретена, либо, постучав в окно, будут спрашивать: «Отрепти-изгребти определены ли?» (архангел.) [7. С. 62]. Ленивых прях, не закончивших работу к святкам, пугали, что «шуликун утащит кудельку» (тобол.) [2. С. 86] или «насерет в куделью» (свердлов.). И, напротив, за успешное прядение эти святочные духи якобы одаривали прях подарками или пряжей, шелком, лентами: матери говорили дочерям: «Давай пряди! Шуликаны тебе чего-нибудь подарят на Рождество» (свердлов.) [9. С. 143]. Чтобы получить в дар от шуликунов нитки или шелк, дети вечером на улице либо возле проруби специально втыкали в снег прялки (мутовки, палочки), а утром бежали проверять, есть ли подарок: «Давай ложись спать, а утром шуликаны приедут и намотают тебе шёлку» (Каргополье) [10]. Иногда, наоборот, люди сами привязывали

ленточки и нитки к предметам и выставляли их на улицу в дар шуликунам. Например, накануне Крещения оставляли на перекрестке борону-суковатку зубьями вверх и привязывали к ним шелковые ленточки, считая, что утром «шылыганье обратно поедут, так шелка-то и снимут» (вологод.) [11. С. 131]. По редким сообщениям, действие шуликунов, наматывающих шелк, воспринималось как вредоносное: люди боялись, что эти духи весь дом замотают шелком (перм., каргопол.).

Считалось, что шуликуны способны предсказать будущее. На Русском Севере во время святочных гаданий девки сходились по вечерам на перекрестки, садились в круг *слушать шуликунов*: если те «захлопают досками – умрет кто-то, если колокольчиками звенят – замуж выйдет» (архангел.) [5].

Оберегами от шуликунов служили: ухват, кочерга, обожженный кол (им обводили по земле черту вокруг строений) или крест, начерченный углем на стенах и дверях. В Вятской губ. хозяйки пекли специальные кресты из теста и раскладывали их по углам в доме; если этого не сделать, то *шуликуны* поселятся в жилище, и тогда выгнать их будет очень трудно. Избу кропили святой водой, приговаривая: «Свята вода в дом, а шулыкуны вон!» (Каргополье) [10]. Особые меры предосторожности принимались, когда шуликунам приходило время уходить (в конце святок): «Святки как пройдут до Крещенья – шалыганы уезжают. Углем крестили ворота, чтоб шалыганы не заехали» (архангел.) [5].

Если шуликуны не уезжали сами после Крещения, то их подвергали ритуальному изгнанию или унижению. В некоторых местах во время водосвятия молодежь устраивала массовую езду на тройках вокруг деревни или по льду реки, что называлось *давить шуликунов* [7. С. 152; 12. С. 133]. Аналогичным образом *топтали шуликунов* в северных деревнях Усть-Цилемского р-на (Коми): «Ездили там, гуляли на верстных лошадях. Так будто бы этих шуликунов топтали» [13. С. 69–70]. В других местах их *хоронили в воду*, т.е. во время водосвятия символически сгоняли вениками в воду [5]. Жители Верхнетоемского р-на Архангельской обл. рассказывали, что однажды один из шуликунов не успел уйти в воду до обряда водосвятия и вынужден был остаться на земле. Его приютила жительница села, которая кормила и поила его целый год, и лишь в следующий день Крещения он смог покинуть землю, вернувшись в воду [6. С. 22].

Идентичным набором демонологических признаков характеризуются другие севернорусские святочные духи – *кулеши* (*куляши*), *кудеса*, *святё*, *святки*, *шшикуны* (см. **Святки**). Так, в Павинском р-не Костромской обл. зафиксированы новые данные о мифологических персонажах, именуемых *кулешмэнцы*: они выходят из воды и пребывают среди людей с Рождества до Крещения; «у них шкуры мохнатые, шапки треугольные, из рота дым и огонь»; они ездят на санях с одним полозом или на шкурах; увозят с собой непослушных детей и т. п. [14].

Та же терминология (*шуликуны* и вариантные формы) используется в значении ‘святочный ряженный’. Способ ряженья тех, кто изображал «шуликунов», подтверждает связь святочной маски с поверьями о страшном облике этих персонажей: «Шуликунами называются такие нарядчики, которые одеваются в белое (покойницкая одежда), на голову одевают остроконечный берестяной колпак, в рот вставляют репные зубы, лицо расписывают себе углем и белой глиной» (тобол.) [15. С. 517]. Тех, кто рядился в хорошую одежду, называли *ряженный*, «а если махор какой страшной, то – *шулюкан*» [16. С. 104]. Иногда сам обычай ходить ряженным определялся глаголами *шиликуничать*, *шуликать*, *шуликанничать* (архангел., перм.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М., 2000.
2. Зеленин Д.К. Загадочные водяные демоны «шуликуны» у русских // Зеленин Д.К. Избранные труды: Статьи по духовной культуре. 1917–1934 гг. М., 1999.
3. Власова М.Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. СПб., 1998.
4. Архангельский архив Отдела этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН. Москва.
5. Картоотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета, Екатеринбург).
6. Лукадзак К. Шуликуны в Архангельской обл. // Живая Старина. 1999. № 3.
7. Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. О.А. Черепанова. СПб., 1996.
8. Этнографическое обозрение. 1918. № 3–4.
9. Востриков О.В. Традиционная культура Урала. Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской обл. Екатеринбург, 2000. Вып. 5. Магия и знахарство. Народная мифология.
10. Каргопольский архив: база данных (лаборатория фольклора Российского государственного гуманитарного университета, Москва).
11. Морозов И.А. Женильба добра молодца. Происхождение и типология традиционных молодежных развлечений с символикой «свадьбы/женильбы». М., 1998.
12. Виноградов Г.С. Шулюканы (к вопросу о культурном взаимодействии русских и якутов) // Виноградов Г.С. Этнография детства и русская народная культура в Сибири. М., 2009.
13. Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб., 1994.
14. Синица Н.А. Лексика народной демонологии Павинского р-на Костромской обл. // Живая Старина. 2010. № 3 (в печати).
15. Живая старина. 1899. № 4.
16. Черепанова О.А. Шуликуны // Культурная память в древнем и новом слове. СПб., 2005.

ХАЛА, а л а – в народной мифологии балканских славян (серб., черногор., болг., с.-макед. *(х)ала*, с.-з.-болг. *змия халовита*) женский мифологический персонаж, прожорливое змееподобное чудовище, летающее по воздуху и пожирающее урожай, нападающее на скот, людей. Как и родственные ей персонажи – л а м я (болг. *ламья*, макед. *ламја*, ю.-серб., ю.-в.-серб. *ламња*), а ж д а я (серб.-хорв. *аждаја*, *аждаха*, болг. *аждер*, *аждарха*, макед. *аждаја* и под., из тур. *ažderhâ* ‘змея’), – «хала» относится к классу так называемых духов атмосферных и воспринимается как противник змея летающего, защищающего от халы свои уголья. Нередко и воздух, и вода рассматриваются как единая среда пребывания змеев-драконов типа «хала», «ламья», «аждая» (подробнее см. [1. С. 225–231, 666–676]): так, в Косове и в центральной Сербии (Левач) считается, что живущая в воде хала поднимается в небеса, водит градоносные тучи и обирает урожай; у банатских болгар известны представления о «ламе», которая «пьет» воду из озера, чтобы затем с небес «вылить» ее на землю, и т.д.

Исходное **xala* трактуется как ю.-слав. или праслав. диалектизм (**xala* ‘стихия’ откуда далее: ‘чудовище, демон’ [2. С. 97; 3]); по иной версии, *(h)ala* – балканский турцизм [4. S. 650–651]. У других балканских народов известны аналогичные мифологические персонажи: алб. *ku(l)çedra*, *kulshedra*, рум. *balaur*, а также рум. *hala* (южнославянского происхождения). В карпатских традициях схожими признаками и функциями обладает з.-укр. *шаркань*, венг. *šarkan*, ср. также хорв. (Барч, Сигетвар в Венгрии) *šarkanj*, хорв. славон. *шаркань*.

П р о и с х о ж д е н и е халы нередко представляется аналогичным происхождению «лами»: например, в Западной Болгарии это уж, через 40 или 100 лет превращающийся в халу.

Внешний облик халы чаще всего связывается с непогодными природными явлениями – бурей, градоносной тучей, вихрем (ср. серб., з.-болг. *ала* ‘буря с градом, ненастная погода’, ‘буря’, в.-серб., з.-болг. *але* ‘вихрь’, ю.-в.-серб. *ала-*

муња ‘сильный ветер, буря’, з.-болг., ц.-болг. *хали* ‘темные тучи’ и т.д.), при этом представление о внешнем виде халы часто бывает расплывчатым, например, в восточной Сербии ее описывают как некое черное страшное существо наподобие ветра, вихря и под. Иногда верят, что хала – невидимое мифическое существо, которое в виде густого тумана ложится на поля и обирает урожай (р-н Свиштова в Болгарии) [5. С. 303–304]. Полагают, что хала огромна, сильна, прожорлива, с крыльями и хвостом (Сербия, Западная Болгария), а ее хвост достает до земли, тогда как голова остается в облаках (Косово); может иметь облик большого орла, летящего перед тучами (окрестности Белграда) или появляется в облике 12 вредоносных воронов (Лесковацкий край в Сербии). В западной Сербии верят, что у халы красные крылья (р-н Нови Пазара), необъятная пасть, из которой вырывается огонь (р-н Иваницы). Иногда считают, что можно увидеть только хвост этого чудовища, поскольку оно проносится, как ветер (р-н Съеницы в юго-западной Сербии), нередко хала отождествляется с пролетающей по ночному небу кометой (западная Сербия). И о хале, и о «ламе» говорят также, что это огромный ящер с головой собаки (Габровский край в Болгарии) или коня (Лесковацкий край в Сербии). Болгары иногда представляют халу в виде огромного быка с рогами. В мифологической прозе сербов и болгар встречается представление о хале как о худом, но прожорливом человеке, жадно поедающем хлеб и молоко, после чего утром жито на полях оказывается «съеденным».

Местами обитания халы считаются небесный свод, облака, верхушки высоких деревьев (Сербия, Западная Болгария). Так, халы «закутываются в облако, в тучу» (р-н Съеницы в юго-западной Сербии [6] – Архив атласа хранится на Философском факультете Университета в Загребе (Хорватия). Записи из архива были сделаны автором в 2004 г.), летают ниже змеев в густых, черных облаках (Срем). Болгары верят также, что халы живут в горных пещерах, пропастях и оврагах, где стерегут ветры, тучи и дожди.

Местами пребывания этих чудовищ могут быть, по поверьям, и большие водные пространства – моря, и особенно озера. Например, в Западной Болгарии полагают, что в каждом море и озере находится по одной хале, которая поднимает волны и пожирает людей, когда гремит гром и сверкает молния, вода расходится, и на секунду оттуда появляется огромная хала с рогами, как у быка (р-н Самокова [7. С. 242]). В западной Сербии хала также обретает черты водного демона: *аждаја*, *ала* живут в больших озерах, морях, где поедают людей (р-н Шабача в западной Сербии); на дне горного озера, которое закрыли люди (или оно само закрылось), и хала исчезла (Голия, запись автора в селе Рудно, регион Голия в юго-западной Сербии, 2002 г.). Дракон *аждаја*, или *ала*, нападает на людей у озера (Заграч в Черногории), живет в Плавском озере (Кучи в Черногории), в Рилском озере (р-н Дупницы в Западной Болгарии) и др.

Вредоносные действия халы, как правило, направлены на уничтожение («пожирание») урожая в поле (серб. диал. *бори се као ала с берућетом* ‘борется, как хала с урожаем’), при этом хала появляется как градоносная туча или ее предводитель. В том месте, где убита хала, бывает большой урожай (р-н Дупницы в Западной Болгарии [8. С. 71]), причем зерно сыплется из распоротого брюха халы (Пиротский край, запись автора в селе Рсовцы, регион Горни Висок в восточной Сербии, 1998 г.). Хала, по поверьям сербов и болгар, «приносит», «сыплет» на землю град или «плюется» градом, если сердится, то дует и устраивает ветер (р-н Самокова в Западной Болгарии), вызывает бурю, разрушая дома, разнося снопы хлеба, уничтожая все на своем пути: *зинула ала Божија, све однесе* ‘открыла пасть хала, все унесла’ (р-н Иваницы в западной Сербии [6]); препятствует дождю и вызывает засуху; сушит реки; приносит смерть людям; пожирает месяц, вызывая затмение. О ее прожорливости известны легенды и рассказы «очевидцев»: например, «одна такая хала выпила в прошлом году 20 ведер молока» (р-н Дуга Поляны в западной Сербии [6]). Многочисленны вто-

ричные бытовые наименования, отражающие прожорливость халы: серб., з.-болг. *ала* 'обжора, ненасытный человек', в.-серб. *алесија, алосија*, с.-серб. *аждаја*, ю.-серб. *аждерајка* 'прожорливый человек', ср. также ругательства – серб. «Хало несита!» (Хала ненасытная!) и др.

В Сербии и Западной Болгарии считается, что хала, обитающая в озерах, как и сходный с ней персонаж «ламя», нападает на людей и скот, вступает в борьбу с быками, приходящими на водопой.

Действия халы считаются причиной внезапных б о л е з н ей – душевного расстройства, паралича частей тела и др. (часто аналогично результату воздействия мифологических персонажей типа «вила»). Поэтому о параличе, беспамятстве человека говорят: в.-серб. *удариле га але* 'ударили его халы', *сьстигле га але* букв. 'схватили его халы' (записи автора в селе Доня Каменица, регион Заглавак в восточной Сербии, 1997 г.); о нервно, психическом заболевании – *заузеле су га але* 'захватили его алы' (запись автора в селе Ново Корито, регион Заглавак в восточной Сербии, 1997 г.); ср. серб. воеводин. *алосан* 'сумасшедший' и т.п. Особенно опасным для здоровья человека считается попасть на место, где халы пролетали, крутились, танцевали и т.п., например, оказаться под большим деревом (ю.-в.-серб., ю.-серб. *аловито (дрво)* 'опасное для здоровья человека (дерево)'), ю.-в.-серб. *авава слива* 'слива, где обитает нечистая сила, ветер' (запись автора в селе Равна гора, регион Власотинцы в юго-восточной Сербии, 1997 г.), наступить на большой плоский камень (серб. *алина софра* 'стол хал'), а также быть застигнутым опасным ветром в поле, на дороге, у источника и т.д. В западной Сербии считается также, что когда крылатые *хале, аждаје* борются в тучах друг с другом, то пугают людей настолько, что те сходят с ума и умирают, поэтому обычным людям не следует видеть халу.

А н т а г о н и с т а м и халы могут выступать Бог, святые (св. Илия, св. Георгий, св. Нестор); люди, наделенные способностью во сне бороться с чудовищем и защищать свою землю (серб. *змајевит човек, змејави човек, змај*, з.-серб., черногор. *здувач, здувач*, в.-босн. *стуха*, реже в этом значении: серб. *(х)ала, (х)аловит човек*; черногор.); драконы – защитники своих сел (в.-серб., з.-болг. *змеј, змев*). Во время воздушной битвы змеи бросают в хал камни и огненные стрелы, что является причиной грома и молнии (Софийский край), змеи стреляют в хал, поэтому гремит гром, а хала брызжет на своих противников водой, отчего идет дождь (окрестности Радомира в Западной Болгарии) [8. С. 70].

В некоторых традициях халы выступают как з а щ и т н и к и своих угодий и тогда дерутся в воздухе с другими халами за урожай охраняемого ими села (ср. в.-серб. *аловито дете* букв. 'ребенок со сверхъестественными свойствами' – так говорят о младенце, рожденном в «рубашке», предполагаемом будущем герое – защитнике села от непогоды). В западной Сербии и Банате полагали, например, что одна хала приводит градоносные тучи, другая же – защищает село от града, особенно если ее поят молоком [6]; этот сюжет отражают заклинания против града: «Не иди, ало, на алу. Ова моја ала доста таки' прогутала!» (Не иди, змеюка, на змеюку. Эта моя змеюка немало таких змеюк проглотила!) [9. С. 58]. В Крушевацком крае (восточная Сербия) халу считали защитником виноградников и полей всего края от града, поэтому во время трапезы на Рождество и на родовой праздник «Слава» говорили: «Сачувај, Боже, нашег чувара алу» (Сохрани, Боже, нашего защитника – халу) [10. С. 152–153].

Встречаются некоторые образы мифологических персонажей, именуемые «хала» (серб. *але* и др.), но имеющие черты и н ы х сверхъестественных существ. Например, в сказках хала нередко уподобляется ведьме, живущей в лесах, с 40 сыновьями, и т.д. Персонаж хала связывается и с обобщенным образом нечистой силы, именуемой сербами *але* (записи автора в селе Доня Каменица, регион Заглавак в восточной Сербии, 1997 г.), *алевине* 'нечистая сила', *алеветине* 'нечистая сила во время святков' (запись автора в селе Равна гора, регион Власотинцы в

юго-восточной Сербии, 1997 г.), ср. также ругательства и проклятия из восточной Сербии: «Але те однеле, але те спалиле!» (Чтоб тебя алы унесли, чтоб тебя алы сожгли!) (записи автора в селе Доня Каменица, регион Заглавак в восточной Сербии, 1997 г.).

Оберегами от халы в наиболее опасные календарные периоды могут быть традиционные для отгона нечистой силы действия, например, при виде сильного вихря следовало плюнуть и сказать: «Тфу, але, посере ми се, помоча ми се!» (Тьфу, алы, с... мне хочется, сс... мне хочется!) (записи автора в селе Доня Каменица, регион Заглавак в восточной Сербии, 1997 г.). В западной Сербии перед приближением ведомой халой градоносной тучи выносили трапезный столик с хлебом, топор, венчалное покрывало и другие предметы, которыми махали в сторону двигающейся тучи и произносили заклинания, с целью напугать и отогнать халу и помогающих ей самоубийц-висельников.

© 2010 г. А.А. Плотникова, д-р филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Плотникова А.А. Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.
2. Етимолошки речник српског језика. Београд, 2003. Св. 1.
3. Бјелетић М. Духовна култура Словена у светлу етимологије: Јсл. (Х)АЛА // Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego. Kraków, 2002.
4. Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971. Т. 1.
5. Маринов Д. Избрани произведения. Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско). София, 1984. Т. 2.
6. Etnološki atlas Jugoslavije.
7. Ангелова Р. Село Радуил. Самоковско // Известия на семинара по Славянска филология при Университета на София. 1948. Кн. 8–9.
8. Ковачев Ђ. Народна астрономия и метеорологија // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1914. Кн. 30.
9. Толстые Н.И. и С.М. Заметки по славянскому язычеству. 5. Защита от града в Драгачеве и других сербских зонах // Славянский и балканский фольклор: Обряд. Текст. М., 1981.
10. Зечевић С. Митска бића српских предања. Београд, 1981.



© 2010 г. Г. ВИШНЕВСКИЙ

М.А. БАЛАКИРЕВ И Ф. ШОПЕН

В статье показано влияние музыки Ф. Шопена на оригинальное творчество М. Балакирева. Балакирев переложил несколько сочинений Шопена, положил начало великой русской исполнительской традиции произведений польского композитора и много сделал для увековечения его памяти в самой Польше.

The article shows the influence of F. Chopin's music on the original works by M. Balakirev. Balakirev transcribed several works of Chopin, marked the beginning of the great Russian tradition of the performing Polish composer's works, and did much to perpetuate his memory in Poland itself.

Ключевые слова: композитор, культура, творчество, память, романтизм.

Годы жизни и творческой деятельности Милия Алексеевича Балакирева приходятся на время, когда польский народ был лишен государственности, а Царство Польское входило в состав Российской империи. Балакирев приезжает в Петербург и достигает творческой зрелости в период, когда после подавления польского национально-освободительного восстания 1863 г. антипольские настроения охватывают почти все влиятельные политические круги России. В Царстве Польском усилились тенденции к русификации всех сфер общественной жизни. Особенно это стало заметно при Александре III, когда варшавским генерал-губернатором стал Осип Гурко, а попечителем учебного округа Александр Апухтин; годы его деятельности (1879–1897) вошли в историю Польши как период «апухтинской ночи». Русский язык стал официальным государственным языком; на русском начали преподавать в учебных заведениях (с 1869 г. в гимназиях, с 1885 г. в начальных школах). Не удивительно поэтому, что в отдельных случаях поляки относились холодно или враждебно к русской культуре и к русскому искусству даже в самых высоких их проявлениях: например, они бойкотировали выставки передвижников или гастрольи Московского художественного театра в 1906 г., спектакли которого посмотрели лишь люди профессионально связанные с театром. Но и они заявляли Станиславскому, что «полное наше ознакомление с театром и его оценка будут возможны лишь тогда, когда мы сами пригласим Вас в Варшаву – в будущей Польше» (цит. по [1. С. 49]).

Однако, несмотря на все эти обстоятельства, в России именно тогда, в конце XIX – начале XX столетия, происходит очень заметный рост интереса к польской литературе и к польской культуре в целом, не имеющий прецедентов в истории восприятия польской культуры за рубежом. Большими тиражами, почти одновременно с их первыми изданиями в Польше, выходят переводы книг польских писателей. Колоссальной популярностью пользуются романы Ожешко, Пруса, Сенкевича; например, роман «Камо грядеши» Сенкевича до Октябрьской революции издавался 33 раза в шести переводах. В начале XX в. исключительно

Вишневский Гжегож – эссеист, литературный и музыкальный критик, Генеральный секретарь Союза польских писателей.

ную, хотя относительно кратковременную, популярность приобретает Станислав Пшибышевский. Россия становится в эти годы самой компетентной и доброжелательной аудиторией польской культуры за рубежом и, по сути дела, за исключением, может быть, сталинского периода, сохраняет это первенство до наших дней.

Трудно сказать, принадлежал ли к многочисленным энтузиастам польской литературы Милий Балакирев, читал ли он, в частности, переводы нашумевших эссе Пшибышевского о Шопене, в том числе «Шопен и Ницше» (эссе было издано в России в 1905, 1909 и 1910 гг.). Но с большой долей определенности можно сказать, что Балакирев сочувствовал полякам. Как свидетельствует Василий Ястребцев, после возвращения с шопеновского торжества в Польшу Балакирев «возмущался грубым деспотизмом русских в Варшаве» [2. С. 416], считал «гнусной» содержащую грубые шовинистические выпады в адрес поляков корреспонденцию в газете «Новое время» (см. [3. С. 379]). Но, будучи музыкантом, он воспринимал мир главным образом через музыку и, наверное, не будет преувеличением сказать, что Польшу он осознал и воспринимал, прежде всего, через польскую музыку, особенно музыку Шопена.

Следует подчеркнуть, что, вопреки всем упомянутым обстоятельствам, контакты и творческие связи польских музыкантов с Россией были в XIX столетии очень богатыми, содержательными и плодотворными. Польских музыкантов особенно привлекал, конечно, Санкт-Петербург, один из общепризнанных центров европейской музыкальной жизни. Еще в первой половине XIX в. здесь обосновались польский композитор Юзеф Козловский, впоследствии автор полонеза «Гром победы раздавайся», бывшего до 1833 г. неофициальным российским государственным гимном, а потом и Мария Шимановская – выдающаяся пианистка и композитор, которой восхищались Гете, Пушкин и Мицкевич. В 50-е годы XIX в. в Петербурге жил и концертировал польский скрипач и композитор Апполинарий Контский, бывший придворным солистом; молодой М.А. Балакирев слушал его выступление еще до своего переезда в Петербург в Нижнем Новгороде, во время музыкального вечера в доме А. Улыбышева (просвещенного мецената, ценителя музыки, автора монографии о Моцарте) в феврале 1854 г. Но намного теснее были творческие контакты Балакирева с братом Апполинария, пианистом и композитором Антоном Контским, который в эти годы тоже жил главным образом в России. Во время гастролей Антона Контского в Казани М.А. Балакирев взял у него несколько уроков, а затем обращался к нему за советами, включал в свои концертные программы исключительно популярное тогда его сочинение *Caprice héroïque* («Преображение льва», соч. 115). Петр Боборыкин писал, что Антон Контский обходился с Балакиревым (который был, напомним, на двадцать лет моложе его), «уже как с молодым коллегой» (цит. по [4. С. 32]). Сохранилась афиша концерта Балакирева в Нижнем Новгороде во время ярмарки, где он прямо называет себя учеником Антона Контского. С другой стороны, по мнению Сергея Ляпунова и Анастасии Ляпуновой, если М.А. Балакирев и мог воспользоваться указаниями Контского касательно некоторых приемов исполнения и развития техники, то как музыкант он стал уже неизмеримо выше своего учителя.

Ц. Кюи пишет: в начале 1856 г. в Петербурге М.А. Балакирев «с воодушевлением рассказал мне про Глинку, которого я вовсе не знал, а я ему говорил о Монюшко, которого он тоже не знал» [3. С. 26]. До премьеры окончательной версии основного сочинения Станислава Монюшко – оперы «Галька» оставалось тогда еще два года, хотя уже существовала (с 1848 г.) первая, двухактная версия. До премьеры «Гальки» в Мариинском театре в Петербурге, положившей начало долголетней карьере «Гальки» на сценах Российской империи, оставалось лет четырнадцать. Но фрагменты «Гальки» Петербург узнал несколько раньше, и произошло это именно благодаря М.А. Балакиреву – в мае 1867 г. в программу

подготовленного им известного «Славянского концерта» Бесплатной музыкальной школы в зале городской думы (устроенного в честь славянских делегаций, прибывших на всероссийскую этнографическую выставку) была включена ария из «Гальки», которую исполнила Юлия Платонова, позже первая исполнительница партии Гальки в Мариинском театре. В феврале 1865 г. и январе 1870 г., в рамках концертов Бесплатной музыкальной школы под управлением Балакирева и Т.Я. Ломакина исполнялся хор из кантаты «Ниола» Монюшко. Лично М.А. Балакирев и С. Монюшко познакомились еще в феврале 1856 г., когда – кстати, вместе с Кюи – они побывали на спектакле «Жизнь за царя» в Мариинке. В 1866 г. М.А. Балакирев попал на концерт Монюшко в Варшаве, остановившись там во время поездки в Прагу для постановки опер Глинки.

Позже, в 1891 г., М.А. Балакирев познакомился в Варшаве с еще одним польским оперным композитором, Людвигом Гроссманом. Сегодня о Гроссмане даже в Польше, а уж тем более в России, почти никто не помнит, но ведь в Мариинке кроме «Гальки» Монюшко до конца XX столетия была поставлена только одна опера польского композитора – «Тень воеводы» Гроссмана, включенная в репертуар в декабре 1877 г. и выдержавшая девять спектаклей. Сведений о том, что М.А. Балакирев когда-либо слушал какую-нибудь польскую оперу, я не нашел, но в 1891 г. в Варшаве он смотрел польский балет – показанную специально по его просьбе «Свадьбу в Ойцов» Юзефа Дамсе и Кароля Курпиньского. На концертах, проводимых М.А. Балакиревым в Петербурге, выступал Генрик Венявский, память которого Польша и Россия почтили весной 2006 г. установлением памятной доски на стене дома Надежды фон Мекк на Рождественском бульваре в Москве, где великий польский скрипач и композитор скончался в 1880 г. Гораздо чаще М.А. Балакирев выступал вместе с другим польским музыкантом – Теодором Лешегицким, известным пианистом, педагогом и композитором, который проработал в Петербурге более четверти века.

Но в центре всего был Шопен – главный музыкальный авторитет, главный музыкальный образец для Балакирева. Я убежден, что он мог бы повторить слова Льва Толстого, который в 1907 г. сказал А.Б. Гольденвейзеру: «Вот за это одно можно поляков любить, что у них Шопен был!» [5. С. 200]. В ответном письме на приглашение из Польши принять участие в открытии памятника на родине Шопена в Желязовой Воле М.А. Балакирев представлялся как «ревностный поклонник этого гениального композитора, которым может гордиться Польша, а за нею и весь славянский мир» [6. С. 429].

Шопен был для Балакирева кумиром во всем. Он играл его музыку, делал обработки его произведений, испытал большое влияние Шопена в собственном творчестве, внес огромный вклад в увековечение памяти польского композитора. «Уважение Балакирева к музыке Шопена граничило с фанатизмом», – пишет крупнейший современный польский исследователь творчества Шопена Мечислав Томашевский [7. S. 745], имея в виду, конечно, фанатизм в положительном смысле слова. Сам М.А. Балакирев говорил о том, что музыка Шопена ему особенно близка, и что он отдает ей предпочтение перед произведениями других композиторов. Все, что относилось к Шопену, доставляло ему особое волнение и особое удовольствие. В 1878 г. он писал отправлявшемуся в Париж Стасову: «если хотите привезти что-нибудь, то достаньте хороший портрет Шопена, который наиболее на него похож» [8. С. 307], а потом, благодаря Стасова, сообщил ему: «Душевно любимого Шопена я поспешил вставить в рамки [...] и он уже красуется у меня на стенке» [8. С. 315].

Первое знакомство Балакирева с музыкой Шопена произошло еще в Нижнем Новгороде в 1851 г. Годом позже на вечеру у А. Улыбышева Балакирев сыграл *Larghetto* из *Фортепианного концерта f-moll* Шопена, которое произвело на слушателей большое впечатление. Позднее Балакирев исполнял почти все произведения Шопена, включая *Виолончельную сонату* и *Трио для фортепиано, скрипки*

и виолончели. И именно М.А. Балакирев вместе с Антоном и Николаем Рубинштейнами положил начало великой русской исполнительской традиции Шопена. Именно благодаря этим трем выдающимся артистам широкие круги музыкантов и любителей музыки в России перестали считать Шопена прежде всего сентиментальным салонным музыкантом и разглядели в нем одного из крупнейших музыкальных гениев мирового масштаба.

Как М.А. Балакирев играл Шопена? Борис Асафьев писал, что в его интерпретации Шопена «чуялось стремление услышать в этой музыке мир величавых идей и дум и образы тех людей, что умели отстаивать свою правду» [9. С. 108]. Асафьев вспоминает: «Сперва игра производила впечатление пальцево-сухой и при строго чеканном ритме все же очень своевластной, упрямо своевластной. Нервности – ни! ни!... Педали мало – и шопеновский бисер мелькал как рассыпавшаяся по поверхности ртуть. Форма чеканилась из строго архитектурночески распределенных отделов... У меня было впечатление, что Балакирев нарочито и вызывающе “снимает” с Шопена все, что содержало хотя бы намек на “ушеугодие”, на любовную романтику» [9. С. 106]. Такая подчеркнута антиромантическая трактовка в соотношении с игрой, например, Антона Рубинштейна составляла как бы противоположный полюс...

Любовь и признание Шопена нашли свое выражение и в ряде сделанных М.А. Балакиревым переложений сочинений польского композитора. В 1882 г. он переложил *Этюд соч. 25 № 7 (cis-moll)* для струнного квартета, посвятив эту обработку Сергею Боткину, великому хирургу и почитателю Шопена, брат которого, Василий Боткин, был одним из первых авторов, писавших о Шопене в России. В 80-х годах М.А. Балакирев переложил две мазурки Шопена *соч. 6 № 4* и *соч. 41 № 4*, объединив их в один хор а саррелла на текст стихотворения А. Хомякова «Бывало, в глубокий полуночный час» и *Мазурку соч. 7 № 7* для струнного оркестра. В 1905 г. следует переработка для одного фортепиано *Романса из Фортепианного концерта e-moll*. Двумя годами позже М.А. Балакирев сочинил для фортепиано в четыре руки *Экспромт на темы двух прелюдий Шопена* – мрачного *es-moll № 14* и светлого *H-dur № 11*. В 1908 г. он написал *Сюиту* из произведений Шопена, оркестровал и переработал следующие его произведения: *Этюд соч. 10 № 6*, *Мазурку соч. 41 № 3*, *Ноктюрн соч. 15 № 3* и *Скерцо соч. 39 cis-moll*. За три месяца до смерти он переинструментировал *Концерт e-moll*. М.А. Балакиреву принадлежит также ряд редакций сочинений Шопена.

О воздействии Шопена на композиторское творчество Балакирева свидетельствует, во-первых, его обращение к таким жанрам фортепианной музыки, как мазурки, вальсы, ноктюрны, скерцо. Известный польский музыковед Зофья Лиса влияние гармоний Шопена в сочинениях Балакирева усматривает в типично шопеновских альтерациях аккордов, в типе модуляций и тональных отклонений, в эффектах, являющихся следствием использования народных ладов. Влияние Шопена видно уже в самом раннем юношеском сочинении Балакирева – *Большой фантазии на русские национальные напевы*. Произведение, которым М.А. Балакирев дебютировал перед столичной публикой в 1856 г., – *Концертное аллегро для фортепиано с оркестром*, задуманное как первая часть концерта, Юрий Келдыш охарактеризовал следующим образом: «Сочиняя его, композитор находился всецело под обаянием Шопена, близость к которому сказывается и в общем лирически задушевном тоне музыки, и в мягкой, типично славянской напевности обеих основных тем, и в легкости, изяществе “бисерных” пассажей» [10. С. 154]. Явственные отзвуки Шопена слышатся, конечно, и в мазурках Балакирева, в его скерцо, в фортепианных сонатах 1857 г. и 1905 г. и других сочинениях.

Но самая большая заслуга Балакирева перед польской культурой состоит, пожалуй, в том, что он сделал для увековечения памяти Шопена в самой Польше. Именно Балакирев стал инициатором возрождения в народной памяти поляков

места рождения Шопена – Желязовой Воли. Это сельская местность, расположенная в 54 километрах от Варшавы, на речке Утрате, у старинного тракта, ведущего из столицы Польши на запад, в Познань. В 1802 г. у проживавшего там графа Скарбека домашним учителем работал некий Миколай Шопен, уроженец Лотарингии, участник польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко. В его семье (он был женат на воспитаннице Скарбеков, Юстине Кржижановской) в 1809 г. родился второй ребенок, которому дали имя Фредерик. Несколько месяцев спустя Миколай Шопен получил приглашение работать преподавателем в лицее в Варшаве, и вся семья переехала в столицу тогдашнего Великого Княжества Варшавского. Судьба Желязовой Воли складывалась по-разному. После самоубийства последнего представителя рода Скарбеков она часто меняла хозяев, которые не особенно заботились об усадьбе, где родился великий польский композитор. В 1859 г. тогдашний владелец, Адам Товянский, сын известного философа-мистика, в свое время тесно связанного в Париже с Мицкевичем, пытался организовать в Желязовой Воле небольшой Шопеновский заповедник, но довести свой проект до конца ему не удалось. Следующий владелец, Павловский, и вовсе использовал флигель, где родился Шопен, в хозяйственных целях. В 70-е годы XIX в. о Желязовой Воле забыли настолько, что некоторые биографы Шопена местом рождения композитора считали Варшаву.

В 1891 г. Балакирев решил ознакомиться с родиной и местом рождения Шопена и с этой целью в конце сентября отправился в Варшаву. Вот как он описывал свою поездку в Польшу в письме к известному французскому музыкальному деятелю Л.А. Бурго-Дюкдре в 1897 г.: «Осенью 1891 г., утомившись служебными занятиями, (в царствование Александра III я, до самой его кончины, состоял управляющим Придворною Певческою Капеллюю), я отпросился в отпуск и отправился в Польшу с целью отыскать деревушку, в которой родился Шопен. Приехав в Варшаву, я адресовался к лицам, имеющим серьезное отношение к музыке, и наконец удалось мне узнать, где находится деревушка *Jelazowa Wola*, в которую я и съездил. Оказалось, что настоящий ее владелец не только не знал о том, что в этом имении родился Шопен, но даже не знал, кто он такой был. Домик, в котором, по моим предположениям, жило семейство Шопена и в котором мог родиться гениальный *Frédéric*, оказался в ужасном положении. В лучшем его салоне уже не оказалось пола. По возвращении моем в Варшаву ко мне явилось несколько корреспондентов польских газет, которые, узнав, в каком плачевном виде я нашел этот домик, пришли в негодование, и рядом статей укоряли польское общество за забвение своего гениальника соотчича. Результатом этого и было возникновение в Желязовой Воле памятника Шопену, который и был открыт 14 октября 1894 г., причем я и был приглашен на это исключительное польское торжество как нечаянный виновник возникновения этого вопроса. Благодаря острым отношениям, созданным неумолимой историей между двумя родственными народами, польским и русским, никто другой из русских музыкантов и даже вообще из русских не был удостоен приглашением на это торжество, и так как поляки не объявляли подписки на сооружение памятника, а собрали нужные деньги между собою, семейно, то русские почитатели Шопена лишены были даже возможности принести свою лепту в знак преклонения своего пред гениальностью знаменитого польского музыканта» [11. С. 64].

В 1891 г. отыскать Желязову Волю Балакиреву помог упомянутый выше композитор Людвиг Гроссман, который «имел некоторое понятие о том, где она находится» [3. С. 345]. Балакирев посетил также варшавский костел св. Креста, где покоится сердце Шопена («увидав это, я сделался сильно взволнован и едва мог оторваться от драгоценных останков, и теперь захожу туда очень часто» [11. С. 61]); несколько вечеров провел в семье Нины Фриде, известной певицы, выступавшей тогда в Варшаве, отец которой был в то время комендантом Варшав-

ской крепости; у Фриде он играл вместе с Станиславом Барцевичем, прекрасным польским скрипачом, с золотой медалью окончившим Московскую консерваторию. Из Варшавы М.А. Балакирев вывез автограф Шопена, подаренный ему племянником композитора А.Ж. Енджеевичем. Через месяц «Новое время» сообщало: «Огласка впечатлений, испытанных господином М.А. Балакиревым при его посещении Желязовой Воли и при виде картины запущения дома, в котором родился один из величайших музыкантов XIX столетия, произвела сильное впечатление в польском обществе, почувствовавшем несколько позднее угрызение совести за свою небрежность» [3. С. 347].

Ровно через три года М.А. Балакирев поехал в Варшаву уже по приглашению Варшавского музыкального общества, чтобы в качестве почетного гостя принять участие в открытии памятника Шопену в Желязовой Воле и выступить в Варшаве. «Когда М.А. Балакирев согласился ехать играть, все стали отговаривать его: пугали и тем, что зал будет пуст, и тем, что ему могут устроить демонстрацию, как русскому патриоту. Но М.А. Балакирев не испугался, поехал, и концерт состоялся... Это был его последний выход перед публикой, больше он уже никогда не играл», – сообщали спустя много лет, в 1910 г., «Биржевые ведомости» [3. С. 375]. «Итак я опять в Варшаве и по-прежнему захожу в костел св. Креста» – писал Балакирев 27 сентября 1894 г. Юлии Пыпиной, – «здесь мне пришлось заниматься выхлопатыванием разных разрешений по поводу предстоящего торжества [...] сегодня я с этой целью ходил к попечителю учебного округа Апухтину и по его совету к барону Медему» [11. С. 62]. Торжественное открытие памятника Шопену в Желязовой Воле состоялось, по словам Балакирева, «при огромном стечении публики». «Я был предметом особого внимания [...] когда вытащили в сад пианино Павловского и поставили его под деревом, под которым, по уверению Антона Крысяка¹, Шопен играл для гостей графа Скарбека, то после того как играли Михаловский и Клечинский, потребовали, чтоб и я что-нибудь сыграл» [11. С. 63]. Потом была исполнена кантата видного польского композитора того времени Зигмунта Носковского «Утрата», по словам Балакирева, «весьма недурная». «Я чувствовал, – писал он Пыпиной, – что этот день один из самых драгоценных дней моей жизни» [11. С. 63].

5 октября в Варшаве М.А. Балакирев выступил в торжественном концерте в честь Шопена, исполнив несколько его сочинений, в том числе *Четвертую балладу* и *Сонату b-moll*. «Успех огромный. Мне поднесли лавровый венок», – писал М.А. Балакирев [3. С. 377]. «Варшавский дневник» сообщал, что М.А. Балакирев был «предметом самых теплых, восторженных оваций» и был назван «лучшим толкователем Шопена» [3. С. 377]. Польский журнал «Biblioteka Warszawska» писал: «Жемчужиной вечера была игра господина Балакирева», – и напоминал о поддержке им стараний польских музыкальных деятелей [12. S. 404, 405]. «Ведь без г. М.А. Балакирева, может быть, этого праздника не было бы», – отмечала другая газета (цит. по [11. С. 61]).

В феврале 1910 г., за три месяца до смерти М.А. Балакирева, в зале Дворянского собрания в Петербурге состоялся концерт по случаю 100-летия со дня рождения Шопена. М.А. Балакирев на концерте не присутствовал, хотя был на репетиции. Символично, что в программу были включены два первых исполнения его работ: *Концерт e-moll* Шопена в инструментовке Балакирева и его *Сюита* из произведений Шопена. Символично и то, что во время концерта впервые было исполнено и сочинение друга и соратника Балакирева, продолжателя его шопеновских увлечений, Сергея Ляпунова – симфоническая поэма под названием «Желязова Воля».

¹Крестьянин-старик, помнивший Шопена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Balicki S.W., Borysow W., Frolow W.* Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa, 1977.
2. *Ястребцев В.В.* Материалы для воспоминаний о Балакиреве // *Балакирев М.А.* Воспоминания и письма / Отв. ред. Э.Л. Фрид. Л., 1962.
3. М.А. Балакирев. Летопись жизни и творчества / Сост. А.С. Ляпунова, Э.Э. Язовицкая. Л., 1967.
4. *Ляпунов С.М., Ляпунова А.С.* Молодые годы Балакирева // *Балакирев М.А.* Воспоминания и письма. Л., 1962.
5. *Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого. М., 1959.
6. *Калмыков В.* Поездки М. А. Балакирева в Варшаву (1891, 1894) // М.А. Балакирев. Исследования и статьи / Ред.-сост. Ю.А. Кремлев, А.С. Ляпунова, Э.Л. Фрид. Л., 1961.
7. *Tomaszewski M.* Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań, 1998.
8. Балакирев М.А., Стасов В.В. Переписка. М., 1970. Т. 1.
9. *Асафьев Б.* Шопен в воспроизведении русских композиторов // Венок Шопену. М., 1989.
10. *Келдыш Ю.* М.А. Балакирев // История русской музыки. В 10-ти т. М., 1994. Т. 7: 70–80 годы XIX века. Ч. 1.
11. Письма М.А. Балакирева о Шопене // Советская музыка. 1949. № 10.
12. *Kronika miesięczna* // *Biblioteka Warszawska*. 1894. Т. 4.



© 2010 г. О.А. ЯКИМЕНКО

ЧЕХОВ В ВЕНГЕРСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Статья предлагает обзор интерпретаций чеховского драматургического наследия на венгерской сцене. Присутствие Чехова в репертуарах венгерских театров становится заметным после 1945 г., и с тех пор постановки чеховских пьес всегда служили отражением различных процессов, происходивших в Венгрии.

The article covers the history of Chekhov adaptations in the Hungarian theater over 20th and early 21st century and offers an overview of major tendencies in Chekhov theatrical interpretations. Chekhov becomes an important author for the Hungarian theater after 1945; since then stage versions of his plays have always reflected certain trends and tendencies in Hungarian public life.

Ключевые слова: Чехов, Венгрия, венгерский театр, пьеса.

Без преувеличения можно утверждать, что вторая половина XX и начало XXI в. в венгерском театре проходят под знаком Чехова (особенно это касается периодов напряженного осмысления венграми своего места в окружающем мире – речь идет о рефлексии 1970-х или о поисках новых смыслов в процессе самоидентификации венгерской нации в системе нового европейского устройства в 1990–2000-е годы).

Поражает само количество постановок – по информации Национального института истории театра (OSZMI), с 1949 по 2010 г. Чехова в Венгрии ставили 216 раз; по другим источникам (сводные базы данных по всем венгерским учреждениям культуры, типа Port.hu или Revizor), только за последние 10–12 лет, с 1998 по 2009 г., в столичных и провинциальных театрах (включая венгерские театры за пределами страны) состоялось более 70 премьер спектаклей, созданных по чеховским пьесам. В 2009 г., например, параллельно были представлены сразу три спектакля по «Трем сестрам» – в Венгерском национальном театре им. Дюлы Ийеша города Берегсас (Берегово, Украина; реж. Аттила Виднянский); кечкеметском театре им. Йожефа Катоны (реж. Янош Сас), и в театре города Сатмарнемети (Сату-Маре, Румыния, реж. Аттила Керестеш), что вызвало целую волну рецензий под ироничными заголовками «Трижды Три сестры» [1. 8–14. о.], или «Современные сестры: стоит ли запретить Трех сестер?» [2]. Ситуация для Венгрии второй половины XX – начала XXI в. более чем характерная.

О популярности Чехова свидетельствует и обилие вариантов текстов его пьес на венгерском языке – в России столько раз заново переводили, наверное, только пьесы Шекспира. Количество переводов того или иного автора на иностранный язык всегда указывает, с одной стороны, на его значимость в пределах собствен-

Якименко Оксана Аркадьевна – старший преподаватель факультета филологии Санкт-Петербургского университета.

ной, исходной культуры, а с другой – на силу воздействия его текстов на культуру принимающую. Для венгерского языка – в том виде, как он звучит со сцены театра – чеховские тексты стали своеобразным «тестом на адекватность» сегодняшнему дню. Объективно более быстрое «старение» языка перевода в сравнении с языком оригинала при сохранении актуальности самого произведения заставляет постановщиков постоянно обновлять переводы, компилировать старые и новые варианты, подвергать их редактуре. Необходимость в новых переводах, как правило, возникала с увеличением количества постановок.

Характерно, что переводами Чехова занимались именно те венгерские писатели и переводчики, о которых привычно говорить как о новаторах и мастерах стиля. В 1920-е годы это были выдающиеся авторы первого поколения журнала «Nyugat» Арпад Тот и Дежё Костолани. Последнего литературоведы часто называют «венгерским Чеховым» – ведь он «первым среди венгерских писателей сумел разглядеть трагическое и комическое в тривиальных историях и судьбах маленьких людей», одновременно «увидев варвара, таящегося в глубинах наших душ», а его венгерский герой до удивления похож на чеховских героев с их «раболепием, потерянностью и униженным достоинством» [3]. В случае с Костолани и его переводами Чехова на венгерский язык можно говорить о редком совпадении языковых индивидуальностей – для текстов обоих писателей, по замечанию исследователей их языка, характерны «простота, плотность, ясность, точность, музыкальность» и меланхолия [4]¹. На смену переводам Костолани в семидесятые приходит Янош Элберт с его стремлением привнести на сцену «современную речь пештских улиц» [6], а в начале девяностых к текстам Чехова обращается один из самых крупных современных венгерских писателей и драматургов Дёрдь Шпиро.

Подобно многим другим странам, Венгрия узнала Чехова сначала как драматурга и уже только потом прочла его рассказы. Впервые пьеса модного русского автора была поставлена в Национальном театре в 1901 г. – это был одноактный водевиль «Медведь». В 1904 г. руководители общества «Талия», созданного по образу и подобию новых европейских театральных трупп (в числе его основателей был и молодой Дёрдь Лукач, впоследствии всемирно известный философ), выбрали в качестве премьерного спектакля «Чайку», однако потом отказались от этой затеи. Постановка Национального театра в 1908 г. повторила историю «Чайки» в Петербурге – стиль режиссуры и актерской игры оказался слишком академичным, тогда как текст – слишком радикальным, вступив тем самым в противоречие с характером исполнения.

Следующий всплеск интереса к Чехову можно отнести к началу 1920-х годов. Он совпадает с периодом модернизации венгерского театра и поисками нового языка национальной драмы. В 1922 г. в театре «Вигсинхаз» (Vígsház) состоялась премьера «Трех сестер» в переводе Дежё Костолани, а в 1923 и 1924 гг. там же были поставлены «Иванов» и «Вишневый сад» (перевод Арпада Тота).

Тем не менее, до середины сороковых массовый венгерский зритель был знаком в основном с шуточными рассказами в сценическом переложении, постановками того же «Медведя» с Дюлой Чортошем в главной роли, или моноспектаклем Йенё Тёржа «О вреде курения».

После 1945 г. венгерский театр пережил трудное десятилетие: в 1949 г. театры были национализированы, отбор пьес производился по указаниям сверху, репертуар состоял из проверенной классики и советских пьес – даже в оперетте шел «Вольный ветер» Дунаевского, а театры в провинции действовали по примеру столичных. Однако после пятилетнего «директивного» периода в ведущих театрах вновь обратились к постановкам основных чеховских пьес. Причин обраще-

¹ О музыкальности чеховского сценического текста в венгерском восприятии также говорит и Петер Балашша [5].

ния к Чехову можно назвать несколько. С одной стороны, Венгрия в силу политических факторов намного активнее (пусть и не всегда добровольно) включилась в контекст русского (советского) культурного влияния. Ориентация на «старшего брата» требовала обращения к одобренным свыше и проверенным текстам. С другой стороны, Чехов не вызывал прямых ассоциаций с советскими реалиями, но давал возможность скрыться в прошлом, не теряя при этом современной интонации. Помимо этого, венгерский театр, в целом, ощутил некоторые «проблемы» – в силу различных причин (культурных, политических, социальных) многие знаковые пьесы мирового театрального репертуара XX в. до 1950-х годов не шли в Венгрии. К числу таких «пропущенных» авторов относился и Чехов. Наконец, в сезон 1954/55 гг. Иштван Хорвай поставил, наконец, в театре Мадача «Трех сестер» (в послевоенном Будапеште до этого шли лишь одноактные пьесы и «Дядя Ваня» в Национальном театре) [7; 8].

Во второй половине пятидесятых политическая реальность Венгрии была драматичнее любого театра. В силу этого на какое-то время театр в определенной мере выпал из сферы активной культурной рефлексии. В этой ситуации создать «за одну ночь» актуальную драматургию было невозможно, но и привычный классический репертуар требовал более длительного переосмысления. Однако после некоторого перерыва Чехов вновь возвращается на венгерскую сцену, чтобы снова стать одним из популярнейших драматургов.

В 1960-е годы авангард «освежил» закосневшую традицию – в Венгрии, как и в России (СССР), Чехова стали играть по-новому. «Рядом с живанием в роль на манер Станиславского появляется брехтовское представление, рядом с психологическим выстраиванием роли – критика извне» [9. 15. о.]. Эта отстраненность сделала возможным использовать пьесы Чехова для формулирования собственного высказывания. Сильное влияние на венгерское театральное прочтение Чехова в этот период оказали, по свидетельству современников, спектакли Анатолия Эфроса [9; 10].

По мнению режиссера Арпада Шиллинга, постановщика одной из самых необычных венгерских «Чаяк» в театре «Kretakör» («Меловой круг»), «в 60-е и 70-е в венгерском театре произошла стилистическая революция, [...] и она была связана с Чеховым и Станиславским» [11].

Исследователи венгерского театра нередко упрекают театр этой эпохи в отсутствии сильного национального начала, в неспособности консолидировать нацию и выразить ее устремления. Однако можно предположить, что именно политическая апатия, вызванная событиями 1956 г., способствовала активному обращению режиссеров к «вневременному» Чехову.

Размышляя о формировании национального театра и принципиальном отличии восточноевропейской драматургии от немецкой, австрийской и русской, известный писатель и драматург Дёрдь Шпиро противопоставляет театр Ст. Выспянского и театр Чехова. Первый исходит из принципа, согласно которому «все явления мира людей человек должен сформулировать внутри самого себя, все происходит из человека» [12. 380. о.], соответственно и задача театра (особенно национального театра) – «раскрыть идею морального совершенства данного народа». Чеховский мир, по мнению Шпиро, построен на отсутствии универсального ответа на постоянно возникающие вопросы. В условиях меняющихся законов (морали, общества) неизменными остаются сам человек как биологическое существо и логика его рассуждений. Ответ же приходится каждый раз искать заново [12. 375. о.].

Одно из объяснений притягательности Чехова для венгерской культуры Шпиро видит в актуальности ключевой темы главных чеховских пьес. Чехов, по его мнению, сумел острее всех поставить вопрос о свободе. «У его героев нет ни материальных, ни иных ограничений, они делают со своей жизнью что хотят. Будучи не в состоянии вынести эту свободу, не связанные ни нищетой, ни ре-

лигией, все они последовательно выбирают рабство – в доступной им форме, и всегда винят в этом выборе других или обстоятельства. Это не русский вопрос – в России и тогда (т.е. во времена Чехова. – *О.Я.*) не купались в свободе – это вопрос развитого западного мира [...] Чехов исходит из того, что Бога нет, нет больше веры, но люди не могут жить без веры и в силу этого вместо свободы выбирают откровенно неадекватные ее заменители» [13].

В 1970-е годы именно эта проблематика делает чеховские пьесы важным элементом «революции провинциальных театров». Особый венгерский феномен возникновения значительных репертуарных театров в небольших городах, где начинала интенсивно развиваться промышленность (и молодая техническая интеллигенция жаждала адекватных, достойных развлечений), был, в первую очередь, связан с постановками русских пьес. В 1971 г. «Чайку» одновременно поставили Габор Секеи в Сольноке и Габор Жамбеки в Капошваре. Оба спектакля были восприняты как революционные. И Секеи, и Жамбеки отказались от традиционного антуража чеховских пьес (исторических декораций, природного освещения), а сцена на сцене (как место треплевского спектакля) и стук молотков символизировали строительство нового театра. Отойдя от принятого канона, режиссеры подчеркивали созвучие Чехова настоящему моменту, создав, таким образом, уже новую традицию интерпретации русского драматурга начала XX в. как универсального театрального автора «на все времена».

По мнению известного венгерского театроведа Ласло Петерди Надя, главная причина обращения к «чужим» пьесам (наряду с Чеховым активно ставили Горького и других русских и советских авторов) заключалась в том, что эти пьесы в то время «знали о реальности больше, нежели современная ей венгерская драма» [14. 53.о.; 15; 16].

Вместе с тем мотивы обращения к Чехову, естественно, не сводились к отсутствию собственной драматургии. По признанию режиссера Тамаша Ашера, начавшего творческую карьеру в середине 1970-х годов, ставить пьесы современных венгерских драматургов было тогда зачастую невозможно по идеологическим соображениям. «Было очевидно, что цензура куда агрессивнее реагирует на современное, нежели, скажем, на Шекспира или на Чехова» [17. 3.о.].

В восьмидесятые в театре и литературе все стремились «освободиться от морализаторства, от аллегорического эзопова языка», альтернативное искусство стало «легальным». Для театра это время стало переломным. В этих условиях так называемый синдром Капошвара стал в определенном смысле новым официальным искусством. По мнению венгерского литературоведа Петера Балашша, одним из самых важных театральных событий этого периода стали «Три сестры» в постановке Тамаша Ашера. Именно с этой постановкой во многом связано возникновение «культы Чехова» как любопытного явления венгерского театрального климата [18. 1152.о.]. Причину чеховского бума 1970–1980-х годов Балашша видит в своеобразии русской культуры (в отличие от советской), равно как и в ее способности создавать великие произведения. Театры венгерской провинции сыграли Чехова по-новому, как великого автора «ухода и распада». «Чехов постоянно говорит: “Ребята, мы не умеем как следует работать, потому что у нас внутри все развалилось”. Этот внутренний распад [...] был очень близок настроениям восьмидесятых – тогда еще не было привычки скрывать и таиться. Все еще обладали внутренней автономией, достаточной для стремления к определенной художественной искренности» [18. 1157.о.].

Современные театроведы объясняют обилие чеховских постановок на рубеже XX–XXI вв. и вполне прагматическими причинами: 1) общемировые тенденции (в Германии Чехова ставят ничуть не реже, а венгерский театр традиционно ориентируется на немецкие тенденции, как в плане режиссерских решений – достаточно обратить внимание на постановки Робета Альфёльди в Национальном театре, так и в выборе репертуара); 2) в пьесах Чехова много женских ролей – в

театре всегда есть актрисы, а мировая драматургия не слишком щедра в последнее время на яркие женские образы.

Помимо этих более общих факторов существует и ряд специфически венгерских доводов в пользу Чехова, связанных с национальной театральной традицией. По мнению критика и драматурга Андраша Форгача, Чехов на протяжении ста лет сохраняет свою важность для венгерского театра – несмотря на то, что тридцать–сорок лет тому назад его ставили, руководствуясь так называемой чеховщиной². Спектакли последних десятилетий, в первую очередь работы Тамаша Ашера, вновь сделали Чехова «эпохальным» автором. При этом у зрителя сохраняется потребность в пресловутой «чеховщине» – как в оперетте или в классической трагедии.

Чеховские пьесы на венгерской сцене превратились в своего рода отдельный жанр. «Меланхоличный и в то же время безжалостный и объективный» – эти эпитеты можно встретить практически в любой рецензии на спектакль по Чехову.

Каждая пьеса выдержала множество постановок – особенно популярными стали «Три сестры», «Чайка» и «Иванов» («Платонов»). В отношении этих пьес уже сложилась определенная театральная традиция, и любой режиссер, выражая свое отношение к ней, предлагает собственное прочтение классического текста. По тем или иным причинам в разные исторические моменты большее внимание к себе начинают привлекать конкретные пьесы. Так, в начале статьи мы уже упоминали «Трех сестер» как «тренд» последних двух лет. В 1970-е особой популярностью пользовалась «Чайка», к ней же вернулись в 1990–2000-е, причем в 1990-е годы эта пьеса вновь послужила материалом для двух постановок – свои варианты прочтения предложили параллельно Янош Ач и Арпад Аркоши [19], а еще через десять лет появилась «Чайка» Арпада Шиллинга. Экономические потрясения последней четверти двадцатого века, естественно, привлекали внимание театров и к «Вишневому саду».

Рассуждая о венгерском театре начала нового века, критик Тамаш Колтаи пишет: «[...] у нас наблюдается ренессанс Чехова. За последние десять лет я навскидку насчитал тридцать чеховских премьер, но на деле их было больше, и надо понимать, что выбирать приходится из шести пьес. Чехова играют уже не как драму образа жизни, но как мировую драму, а это значит, что на первый план выходят не мелочи повседневности, но вопросы философии бытия» [20].

В самом начале XXI в. точкой отсчета нового театрального времени, судя по всему, стал спектакль театра «Кретакеър» по чеховской «Чайке» – точно также как «Чайки» Секея и Жамбеки в 1971 г. [21]. Параллели просматриваются не только в выборе пьесы, но и в том, что в обоих случаях речь идет о попытке перевернуть представления публики о театре, «сместить ее ожидания». Сравнение трех постановок (Секея и Жамбеки в семидесятых и Шиллинга в начале двухтысячных) показывает, в какой степени изменились средства художественного выражения, актерская и режиссерская техника (в спектакле театра «Кретакеър» отсутствуют декорации, а актеры играют в повседневной одежде и ведут себя нарочито «несценично»). Таким образом, чеховская пьеса исполняет роль своеобразного камертона, позволяя увидеть, в какой степени трансформировались за «эти 32 года роль театра, его общественный вес, изменились ли ожидания публики» [22].

Шиллинговская «Чайка» оказалась переломной не только для венгерского театра. После показа этого спектакля в 2004 г. на московском фестивале NET российские критики практически единодушно назвали ее одной из самых удачных европейских постановок Чехова последних лет. Главными достоинствами венгерской «Чайки» называли «методологическую смелость», «взыскательную изощренность», доверие к автору, стремление режиссера «не актуализировать старую

² Под этим термином последние десять–пятнадцать лет венгерские театроведы, как правило, понимают костюмные спектакли с усадебно-пейзажными декорациями и явной ностальгией по девятнадцатому веку.

пьесу, а обнулить и прочесть заново – так, будто до него по Европе в течение столетия и не летали целые стаи Чаек» [23]. Полностью помещая актеров, играющих Чехова, (и зрителей) в сегодняшнюю реальность, Арпад Шиллинг, по мнению критика Р. Должанского, доказывает универсальность характеров и мотивов, описанных русским классиком [24].

Сам режиссер, говоря о причинах обращения к Чехову, объясняет его актуальность не только вневременностью и универсальностью характеров, но и его вниманием к человеческой индивидуальности: «даже у самого незначительного персонажа есть история, делающая его существование важным» [25. 585.о.].

Еще один мотив чеховского мира – мотив безвременья, ухода прежней реальности, смерти старой цивилизации – становится в 2000-е годы ключевым в постановках Тамаша Ашера («Иванов») и Аттилы Виднянского («Три сестры»)³. Ощущение катастрофы и невозможности возвращения к прежним ценностям Виднянский передает, «перемонтируя» действие – т.е. меняя местами части пьесы, начиная ее с середины. Характерно, что тот же самый прием использовал несколькими годами ранее режиссер театра «Mozgó ház» («Движущийся дом») Ласло Худи в своем спектакле «Вишневый сад» [29].

Универсальность Чехова, помноженная на разнообразие именно венгерских интерпретаций, делает его очень «удобным» драматургом для венгерских театров, находящихся за пределами страны. С одной стороны, русский автор позволяет избежать упреков в венгерской культурной экспансии и провинциальности, а с другой – дает возможность поучаствовать в непосредственно венгерской творческой рефлексии, находящейся в контексте другой культуры. Спектакли Виднянского («Три сестры» в театре г. Берегово, Украина) и Габора Томпы («Три сестры» в театре г. Клуж, Румыния) обратили на себя внимание не только в Венгрии, они стали заметным явлением и в театральной жизни указанных стран, и в европейском культурном пространстве.

«Засилие» Чехова на сценах столичных и провинциальных театров не могло не привести к возникновению целого направления в венгерской драматургии, тесно связанного с чеховской традицией. Среди ее продолжателей чаще всего называют Дёрдя Шпиро и Золтана Эгрешши.

У Эгрешши самой непосредственной отсылкой к Чехову стала пьеса «Португалия» [30. С. 367–436], в которой присутствуют «чеховское оцепенение и чеховская тоска» [31]. Герои «Португалии», подобно чеховским сестрам, отчаянно стремятся вырваться из окружающей их реальности. Ситуация при этом слегка сдвигается в сторону абсурда – в характерном для венгерской культуры ключе. Возникает своеобразный зеркальный эффект: эскапизм множится, деревенская жительница грезит о Будапеште, тогда как столичный житель мечтает о придуманной им самим Португалии и, в итоге, сам попадает в деревню, где и разворачивается действие. При этом «герои» по-чеховски бездеятельны: они не ходят, а только думают, не действуют, но лишь ждут и в ожидании выпивают [32]. Не только «Португалия», но и весь театр Эгрешши стоит на «чеховско-ибсеневском фундаменте, для которого характерны тонкие модуляции, продуманный уход от формул и схем [...] осторожное раздвигание привычных рамок» [33].

Чеховские мотивы можно легко обнаружить у многих венгерских драматургов – даже у тех, кто, на первый взгляд, совершенно чужд принципам чеховской драматургии (П. Надаш, Г. Гараци). Постоянная полемика с Чеховым просматривается и в произведениях Д. Шпиро. Последний является не только выдающимся писателем и драматургом, но и одним из самых проникательных и точных исследователей театра.

³ Спектакль «Иванов» будапештского театра им. Йозефа Катони несколько раз приезжал в Россию; Аттила Виднянский работает в театре им. Дюлы Ййеша в Берегово (Украина). Об этих спектаклях см. [26; 27; 28].

В каком-то смысле и движение «Современная венгерская драма» (Kortárs magyar dráma) стало реакцией на бесконечных «чаек» и «сестер». Писатель Эндре Кукорелли, выступивший в качестве отборщика на Национальной театральной встрече в г. Печ (POSZT) в 2008 г., так комментирует ситуацию: «Если спектакль по Чехову и постановка по пьесе современного венгерского автора показались мне одинаковыми по уровню, я без раздумий выбирал последнюю [...] Репертуар театров вызывает у меня досаду [...] Сплошные Ибсен и Чехов. Вот и летают вверх-вниз чайки да дикие утки» [34] (см. также [35]). При этом, в качестве альтернативы Кукорелли называет тех же самых Шпиро и Эгрешши.

Однако полемика о целях и задачах современного венгерского театра, о необходимости поиска нового театрального языка, способного, во взаимодействии с публикой, выработать представление о реальности, адекватное моменту, почти неизбежно возвращается к Чехову. Несмотря на внешние изменения, Чехов, как выясняется, по-прежнему остается для венгерского театра современным драматургом⁴, предлагая вневременной текст, который можно наполнить собственным опытом, переживаниями, мировоззренческими установками.

Недаром последней (на момент написания статьи) из новейших венгерских вариаций на тему Чехова стал спектакль студентов театрального факультета Капошварского университета (именно в Капошваре почти сорок лет назад Жамбеки поставил одну из революционных «Чаяк») – «Csehov.zip». Это уже не конкретная пьеса Чехова, но мозаика из почти всех пьес автора, что позволяет говорить о существовании в венгерском театре целого чеховского пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Herczog N.* Az utolsó (Csehov-)tekercs; *Rádai A.* Nüansznvi életek; *Markó R.* Kit érdekel Moszkva? // Színház. 2009. XI.
2. *Sándor L.I.* Kortárs nővérek. Be kell-e tiltani a három nővért // *Ellenfény.* 2009. № 11.
3. *Grendel L.* Kosztolányi, a magyar orosz // *Litera.hu,* 2009. 15 V.
4. A századforduló melábul pszichogramja. Kosztolányi Dezső Pacsirtájának német fogadtatásából // *Élet és irodalom.* 2008. 23 V.
5. Adni. Czike Bernadett készített interjút Balassa Péterrel // *Élet és irodalom.* 2003. 18 VII.
6. *Cs. Jónás E.* Stílusvariációk Csehov-darabok magyar szövegváltozataira // «Magyar nyelvjárások» A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar nyelv- és irodalomtudományi tanszékének évkönyve. Debrecen, 1999. XXXVII.
7. *Szabó I.* A színházak műsora az ötvenes években. In OSZMI A digitális színháztörténet (<http://www.szinhaziadattar.hu/iu>) – цифровая библиотека по истории театра, проект Национального института истории театра.
8. *Orosz és szovjet színművek a magyar színpadokon. 1945–1979 / Molnár K. (szerk.). Budapest, 1979.*
9. *Spiró Gy.* A Befejezetlen dráma // *Filmvilág folyóirat.* 1983. № 11.
10. *Peterdi Nagy L.* Csehov és a mai színház. Budapest, 1977.
11. *Должанский П.* «Чехов сделал меня ультраконсервативным». Арпад Шиллинг на фестивале NET // *Коммерсант.* 2004. 14 XII.
12. *Spiró Gy.* A közép-kelet-európai dráma. (A felvilágosodástól Wyspiański szintezéséig). Budapest, 1986.
13. *Spiró Gy.* Beszélgetés // *Élet és irodalom.* 2009. 6 XI.
14. *Peterdi Nagy L.* Báronyos színházi forradalom // *Liget Műhely Alapítvány.* 2005.
15. *Peterdi Nagy L.* Csehov Színháza. Budapest, 1975.
16. *Peterdi Nagy L.* Csehov és a mai színház. Budapest, 1977.
17. *Forgách A.* Ascher a DESZKA-n. Beszélgetés a kortárs magyar drámáról // *Színház.* 2007. № 12.
18. *Balassa P.* A nyolcvanas évek magyar művészetéről Takáts József beszélgetése // *Jelenkor.* 2003. № 12.
19. *Perényi B.* Lelőtték-e a Sirályt. A 90-es évek Sirály-bemutatói – összehasonlító elemzése // *Ellenfény. Archivum* 2000. № 1–2.
20. *Koltai T.* Fejünk fölött a szamovár // *Élet és irodalom.* 2004. 16 IV.
21. *Csáki J.* A pucér Siráj / *Magyar Narancs.* 2003. 30 X.
22. *Sándor L.I.* Színházteremtő fiatalok színháza. Székely, Zsámbéki, Schilling Sirálya // *Ellenfény.* 2008. 15 I.

⁴ См. интервью Тамаша Ашера: «Таких умных, грустных и универсальных, что ли, авторов, как Чехов, среди новых драматургов нет» [36].

23. *Ситковский Г.* Скрипки топчут – шепки летят. Венгерская «Чайка» на фестивале NET // Газета. 2004. 14 XII.
24. *Должанский Р.* Меловой круг для Чехова. «Чайка» в постановке Арпада Шиллинга // Коммерсант. 2004. 9 X.
25. Schilling Árpád Kettős próba (Baráthy Gy. beszélgetése) // Jelenkor 2003. № 6.
26. *Должанский Р.* Без вины Иванов. Чехов в постановке Тамаша Ашера // Коммерсант. 2008. 18 III.
27. «Иванов» Тамаша Ашера приехал в Москву // Интернет-портал OpenSpace.ru. 2008. 16 VI.
28. *Руднев П.* Европейский путь. Венгерский акцент // Империя драмы. 2009. № 26–27.
29. *Csáki J.* Feeling Cseresznyéskert – Mozgó Ház Társulás; *Bognár L.* «Mi a valóság, mondd már meg!» Cseresznyéskert – Mozgó Ház Társulás // Ellenfény. 2008. 4 VIII.
30. *Золтан Э.* Португалия // Казематы. Современная венгерская драматургия. М., 2009. Вып. 2.
31. *Balázs A.* A Portugál spénót // Élet és irodalom. 2005. 2 XII.
32. *Jeges V.* Egressy Zoltán: Portugál; Nemzeti Színház és a Pécsi Harmadik Színház közös produkciója. Élet és irodalom. 2009. 6 IV.
33. *Takács F.* Váltófutás megváltásért // Mozgó világ. 2006. április.
34. Egy válogatás szempontjai. VIII. POSZT. Beszélgetés Kukorelly Endrével. Kelemen O., Miklos M., Sebők B. / Ellenfény. 2008. július.
35. *Kukorelly E.* Minden tisztességes és vértől csörögő / Színház. 2009. № 11.
36. Тамаш Ашер: «Я не хуже и не лучше Чехова». Интервью Марии Сидельниковой // Интернет-портал OpenSpace.ru. 2008. 17 VI.



© 2010 г. П.В. КОРОЛЬКОВА

МОДИФИКАЦИЯ ЖАНРА АВТОРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ¹

Традиция фольклорной волшебной сказки обретает новое рождение в конце XX – начале XXI в. по меньшей мере на трех уровнях: уровне детской литературы, авторской сказки для взрослых и косвенно, путем взаимодействия с иными литературными жанрами.

The tradition of folklore fairy tale gets a new birth in the end of the 20th and the beginning of the 21st century at least on three levels: level of children's literature, author fairy tale for adults and indirectly through the interaction with other literary genres.

Ключевые слова: славянские литературы, чешская литература, фольклорная сказка, литературная (авторская) сказка, детская литература.

Современное состояние жанра авторской (литературной)² волшебной сказки, его модификация по сравнению с предшествующими этапами развития – зарождением, становлением, активным бытованием и взаимодействием с другими жанрами на протяжении всего XX в. представляют большой интерес. Авторская сказка продолжает оставаться чрезвычайно популярным, актуальным жанром. Однако, несмотря на то, что, с одной стороны, литературная сказка изучена уже весьма подробно (прежде всего на материале русской, скандинавской, немецкой, французской, английской литератур), остаются нерешенными еще многие связанные с ней проблемы. Вот почему существенный вклад в разработку жанровой

Королькова Полина Владимировна – младший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Выбор хронологических рамок исследования обусловлен пониманием современной чешской литературы как особого этапа в литературном процессе – периода после 1989 г. и «бархатной революции» (см. [1]), когда восстанавливается «естественная» (свободная от идеологических искажений) литературная парадигма, читатель получает доступ к ранее не публиковавшимся текстам, а писатель – возможность работы с ранее табуированными темами и экспериментирования в области как содержания, так и художественной формы. В этот период радикально преобразовалась вся организация литературной жизни, «сменились издательские и читательские запросы, предпочтения и приоритеты» [2. С. 90]. Издательская деятельность и печатная продукция стали частью рыночного процесса.

² Понятия «литературная» и «авторская сказка» существуют наравне друг с другом, мы будем использовать их как синонимы. Термин «литературная сказка» хотя и включает в себе скрытый оксюморон (ведь первоначально «сказка» – то, что «сказывают», т. е. повествование, бытующее в устной традиции), однако говорит о том, что в данном случае речь идет, во-первых, о тексте, т. е. фиксированной и неизменной форме существования произведения, во-вторых, о тексте, представляющем собой именно литературное произведение. Термин «авторская сказка» зоостряет несколько иной аспект того же явления. Он указывает на наличие известного читателю автора (в отличие от анонимных «исполнителей» фольклорной сказки), а кроме того, на его роль творца, создающего оригинальное художественное произведение, а не воспроизводящего ранее существовавший образец. По сути же эти термины говорят об одном и том же, поскольку важнейшее отличие литературного произведения от фольклорного заключается как раз в наличии известного автора текста, в закреплённости этого текста в письменной форме и в отсутствии его вариативности.

теории сказки могло бы внести исследование авторской сказки в славянских литературах, в том числе чешской авторской сказки, подробное изучение которой для разных этапов истории литературы до сих пор так и не завершено.

В европейской литературе существует яркая традиция авторской волшебной сказки, сложившаяся на протяжении XIX в. в творчестве Ф. Новалиса, Э.Т.А. Гофмана, В. Гауфа, Г.-Х. Андерсена, Л. Кэрролла, О. Уайльда и продолженная в XX в. С. Лагерлеф, М. Метерлинком, Р. Кипплингом, Дж.Р.Р. Толкиеном, А. де Сент-Экзюпери, А. Линдгрэн, Т. Янссон, Дж. Родари, О. Пройслером и многими другими писателями. Чрезвычайно популярен этот жанр и в России: сказки писали М.Д. Чулков, С.Т. Аксаков, А.С. Пушкин, В.И. Даль, П.П. Ершов, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Афанасьев, Л.Н. Толстой, А.М. Ремизов, П.П. Бажов, К.И. Чуковский, Б.В. Шергин, Ф.Д. Кривин, С.Г. Козлов и многие другие. Сегодня литературные сказки создают Л.Е. Улицкая («История про кота Игнасия, трубочиста Федю и одинокую Мышь», 2004; «История о старике Кулебякине, пласивой кобыле Миле и жеребенке Равкине», 2005; «История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и сороконожку Марью Семеновну с семьей», 2005), Н.И. Козлов («Философские сказки для обдумывающих житье, или Веселая книга о свободе и нравственности», 2004), И.А. Дедюхова («Дедюховские сказки», 2004), А.А. Кабаков («Московские сказки», 2005), Д. Быков («Новые русские сказки», 2005), М.Л. Москвина («Рассказы и сказки», 2005), Л.С. Петрушевская («Пограничные сказки про котят», 2008), А.Д. Степанов («Сказки не про людей», 2009) и др.

В чешской литературе жанр авторской волшебной сказки также занимает важное место. Классиками литературной сказки стали К.Я. Эрбен, Б. Немцова, Б.М. Кулда, С. Подлипская, Э. Красногорская. В XX в. сказки писали Я. Карафиат, И. Лада, К. Чапек, Я. Верих, В. Чтвртек, И. Марек, Я. Дрда, Л. Ашкенази, О. Сироватка. Актуальность жанра подтверждает, например, недавнее создание Михаэлом Вивегом – пожалуй, самым известным современным чешским автором, пишущим в расчете на массовую аудиторию, – сборника «Короткие сказки для усталых родителей» (2007), а также популярность сказок других современных писателей – Л. Вацулика, К. Шиктанца, В. Эрбена, А. Микулки, Г. Доскочиловой, П. Шрута, В. Климтовой, И. Пехи, П. Никла, П. Прохазки, Л. Бродецкой и др. Подобные произведения ныне все чаще создаются в основном для взрослой аудитории, и здесь существенно переосмысленный автором жанр способен предложить особую форму игры, сказочно-фантастической условности. В ходе этой игры происходит «узнавание» канона фольклорной сказки, выстраиваются особого типа «доверительные» отношения между автором и читателем и по-новому, порой с неожиданными точками зрения, осмысливается современная действительность.

Кроме того, в течение последних десятилетий не только в чешской, но и во многих других европейских литературах наряду с возросшим интересом к жанру сказки наблюдается тенденция не просто к воспроизведению, но к самому разнообразному преломлению и переосмыслению сказочных элементов, мотивов и образов, к использованию принципов сказки в художественной структуре иных жанров. Волшебная сказка может сближаться с фантастикой, притчей, утопией, мифом и в рамках постмодернистского романа. Яркие примеры подобного взаимодействия – появившиеся в 1990–2000-е годы произведения известных чешских авторов: «Медвежий роман» (1991) И. Крагохвила, «Семь храмов» (1998) М. Урбана, «Воспитание девушек в Чехии» (1994) М. Вивега, «Пустые улицы» (2004), «Другой город» (2005) М. Айваза и многие другие³. В них, по замыслу авторов,

³Разнообразные сказочные элементы – сюжет волшебных испытаний, отдельные сюжетные мотивы, характерные для фольклорной сказки, устойчивые функции персонажей, сказочная система образов и пространственно-временной континуум, отдельные тропы и стилистические клише используют при создании своих произведений многие современные писатели из других славянских стран, например Сербии (М. Павич, Г. Петрович), Болгарии (Э. Дворянова), Хорватии (С. Феменич, Т. Хорват, Я. Хорват), Словении (С. Макарович, М. Томшич) и т.д.

граница между реальным и сказочным миром оказывается максимально размыта. Наличие такой тенденции подтверждает идею о том, что сегодня сказка – это не просто популярный, но и «живой», чрезвычайно актуальный жанр, способный дать литературе то, чего не могут дать иные жанровые формы: особый способ взаимодействия автора и читателя.

К «ядру жанра» литературной сказки мы вслед за М.Н. Липовецким относим те произведения, в которых «тип концепции действительности, сложившийся в народной волшебной сказке, представлен не как фрагмент художественного мира, а как его основание и структурно-семантический каркас» [3. С. 20], воссоздаваемый через систему носителей «памяти жанра» (узнаваемые элементы сказочной поэтики). Конечно, переосмысления фольклорно-сказочного канона были свойственны литературной сказке с самого ее рождения (ср. произведения Гофмана, Андерсена, Уайльда, в Чехии – К. Чапека, И. Волькера, В. Ванчуры и др.), однако они не уничтожают, а в какой-то степени даже актуализируют «память жанра»: читатель все время обращается к канону народной сказки, сравнивая его с поэтикой авторской сказки. Количество переосмыслений не является решающим фактором при переходе из области «ядра» в область «периферии». Авторская сказка уходит из области «ядра» лишь при взаимодействии с другими литературными жанрами. В этом случае ее художественный мир не воспринимается как единое целое, он усваивается фрагментарно, становится лишь одной из художественных систем, подвергающихся переосмыслению.

В литературном процессе современной Чехии трансформация жанра сказки в области «ядра» связана, с одной стороны, с частичным воспроизведением канона фольклорной сказки, а с другой стороны, с его переосмыслением в русле традиции авторской сказки первой половины – середины XX в., т.е. сказочной традиции К. Чапека, Й. Лады, Я. Вериха и др. В первом случае авторы сказочных произведений – В. Цибула («Французские сказки», 1990), В. Гулпах («Сказочные странствия по Чехии», 1992; «Сказочные странствия по Моравии», 1998), С. Филип («Сказки из искр и дыма», 1999), В. Коцоурек («Заносчивая принцесса и чудесные яблоки», 2001), Г. Доскочилова («О Маме Роме и цыганском боге», 2001), П. Шрут («Большая книга чешских сказок», 2002) и многие другие ориентируются на традицию Божены Немцовой и Карела Яромира Эрбена – классиков чешской литературы периода национального возрождения, создавших сборники с детства известных каждому чеху сказок. Однако Б. Немцова, К.Я. Эрбен и многие другие чешские писатели – собиратели фольклорных сказок⁴ записывали их в расчете не только и не столько на ребенка, сколько на взрослого читателя (да и создавались фольклорные сказки также вовсе не для детей). Их задачей в то время было сохранить канон фольклорной сказки во всем ее национальном своеобразии, лишь слегка обработав литературно и приблизив тем самым к современному читателю⁵, а также ввести жанр в литературный обиход. На первый план в данном случае выходит непосредственное соотнесение записанного варианта сказки с тем же текстом, бытующим в устной жанровой традиции, а авторское начало отходит на второй план⁶.

⁴ Например, Б.М. Кулда, Я.Й. Малы, Я.К. Граше, Ф. Байер, Ф.Ц. Кампелик, Ф. Бартош, Ф.М. Врана, Й.Ш. Баар, Я.Ф. Грушка, О. Сироватка, В. Ржига (Тилле), Ф. Грубин и т.д.

⁵ Фольклорная сказка «в чистом виде», в ее исходной форме воспринимается современным читателем с трудом: изменились представления о морали, о чудесном, о развлекательности, многое в фольклорной сказке кажется теперь странным, нелогичным, наивным или жестоким, ведь нам непонятна сама основа сказки – обряд, ритуал. Вот почему сегодня читатель воспринимает литературную сказку как самостоятельный эстетический феномен, «лишь смутно ощущая отзвук фольклорной традиции, а чаще – гораздо более “молодой” традиции воспроизведения сюжетов народной сказки и классической (античной) мифологии в средневековой и новой европейской литературе» [4. С. 120].

⁶ Для таких сказочных текстов, стремящихся к сохранению канона фольклорной волшебной сказки, Л.Ю. Брауде предлагает термин «фольклористическая сказка». С одной стороны, он

Перед современными писателями уже не стоит задача сохранения жанра волшебной сказки. Образцом для их произведений становятся не непосредственно устные фольклорные тексты, а сказочное творчество писателей XIX в.: ориентируются же они главным образом на читателя-ребенка. Основные свойства этих текстов – назидательность, поучительность, развлекательность. Одновременно очень высока популярность переиздаваемых книг «золотого фонда» чешской сказочной литературы – «Светлячков» Я. Карафиата, сказок Б. Немцовой, К.Я. Эрбена, Й. Лады, К. и Й. Чапек, Ф. Бартоша, В. Становского, Я. Владислава, В. Чtvrтека и др. Эти издания также ориентированы на детскую аудиторию.

Разнообразные переосмысления фольклорного канона в русле традиции авторской сказки XX в. также в значительной мере свойственны современной литературной сказке. Здесь можно выделить произведения П. Никла («Лингвистические сказки», 1994; «О Рыбabe и Морской душе», 2002), Д. Фишеровой («Сказки из деревни Ветряное», 2008), П. Прохазки («Фирфикс», 2008), П. Шрута («Непарноеды», 2008), Л. Вацулика («Завел Петя медведя – или еще кого», 2008) и многих других писателей.

По-новому переосмысляет жанр К. Шиктанц в «Королевских сказках» (1994), созданных на основе как чешских сказочных сюжетов, так и сказок других народов. На сказочном материале писатель раскрывает философские проблемы одиночества, сомнения, стремления человека к любви, добру и справедливости. Его произведения следуют традиции философских сказок Г.-Х. Андерсена, О. Уайльда, М. Метерлинка, А. де Сент-Экзюпери. В сказочной прозе Т. Пьекного «Каменные вороны» (1990) наряду с интертекстуальными связями (сказки «Маленькая русалочка», «Маленький принц») мы встречаемся с общечеловеческими проблемами поиска пути и самопожертвования. Возникает своего рода диалог с детскими сказочными произведениями немецкоязычного писателя середины XX в. О. Пройслера, автора «Маленького Водяного» и «Маленькой Бабы-Яги», где также переосмыслиются традиционные функции сказочных персонажей-антагонистов и где они выступают в положительном качестве, однако подобного глубокого философского подтекста в сказках Пройслера мы не находим. Скорее произведения Пьекного вызывают ассоциации со сказочным творчеством Андерсена.

Однако в «ядре» жанра литературной сказки остаются не только книги для детей. Примером сказочного произведения для взрослого читателя может служить сборник В. Эрбена «О привидениях», в который вошли двенадцать литературных сказок. О том, что книга адресована взрослому читателю, говорят прежде всего сложный язык и система интертекстуальных аллюзий. В предисловии автор в шуточной форме сообщает читателю, что все истории, описанные в книге, предназначены для взрослых и что их нужно воспринимать исключительно как документальные свидетельства существования привидений [5. S. 5]. Эрбен продолжает традиции известных каждому чеху «Девяти сказок» К. Чапека: привидения, волшебники и прочая нечистая сила, как и у Чапека, живут в современной Чехии, пользуются благами цивилизации и беспрепятственно общаются с людьми, причем люди не испытывают страха при встрече с ними, а пытаются познакомиться, помогают им и в конце концов становятся их друзьями⁷. Не случайно и про-

указывает на ее тесную связь с фольклорной традицией, с другой – говорит лишь о внешнем сходстве, подобии. Ведь фольклористические сказки Дж. Базиле, Ш. Перро, братьев Гримм, А.Н. Афанасьева, Б. Немцовой, К.Я. Эрбена, безусловно, принадлежат области литературы, а не фольклора. Фольклористическая сказка, возникшая и получившая широкое развитие в европейских литературах в XIX в., к началу XX в. уходит из литературы и становится скорее предметом научного интереса. Одновременно происходит переход классических текстов фольклористической сказки в область детской литературы, в которой она сохраняется до сих пор.

⁷Интересно отметить, что даже места, где герои сказок К. Чапека и В. Эрбена встречаются с нечистой силой, зачастую совпадают. Так, доктор из «Большой докторской сказки» Чапека идет лечить русалку в Ратиборжскую долину рядом с рекой Упой; там же герой сказки В. Эрбена «О духе

странственно-временная структура, и система образов сказочных произведений В. Эрбена и К. Чапека оказываются весьма схожими; мягкая ирония свойственна стилю обоих писателей.

В целом все же стоит отметить, что «ядро жанра» современной чешской литературной сказки составляют в основном произведения для читателя-ребенка. Философская авторская сказка для взрослых в этот период не исчезает, однако начинает активно взаимодействовать с другими литературными жанрами, перемещаясь, таким образом, из области «ядра» в область «периферии».

«Периферия» авторской сказки представлена в современной чешской литературе произведениями, в рамках которых волшебство-сказочная традиция взаимодействует с жанровыми принципами легенды и мифа, с фантастикой или даже нелитературными жанрами. В этой области предшественниками современных чешских писателей стали К. Чапек как автор романа «Кракатит» (1922), Я. Вайсс («Дом в тысячу этажей», 1929), В. Ванчура («Длинный, толстый, глазастый», 1924; «Пекарь Ян Маргоул», 1924; «Причуды лета», 1926).

Традиция взаимодействия авторской сказки с жанром легенды в чешской литературе берет начало еще в творчестве А. Ирасека («Старинные чешские сказания», 1894); ярким продолжателем этой традиции стал Ф. Лазецки («Пражские легенды», 1940). Современные авторы создают тексты в духе народных легенд и мифов, как чешских, так и зарубежных – «Рыцари короля Артура» (1992), «Герои старых европейских преданий» (1995) и «Рыцарские легенды» (1997) В. Гулпахы; сборник сказок Д. Фишеровой «Искра радуги» (1998 г.), в основу которого легли античные и средневековые европейские и индийские мифы и сказания. Эти и другие писатели (Л. Павлат, З. Голашова, Р. Фучикова, В. Становский) сочетают библейскую и фольклорно-сказочную тематику, в основном, их произведения представляют собой дидактическое повествование (яркий пример – сборник Ю. Кошнаржа «Иисус в чешских сказках», 1991–1992). Историю Праги, достопримечательности города, связанные с ними легенды и предания в форме сказки описала в своей книге «По Праге шагает лев» (2008) А. Ежкова, популяризатор истории и науки для детей.

«Оживает» в чешской литературе и национальное предание о глиняном великане – Големе, созданном в Праге в конце XV столетия. По-новому понимают легенду Э. Гудечкова («Мой братик Голем», 1993), Г. Неборова («Голем», 2006), с мягкой иронией рассказывает ее Г. Доскочилова («Голем, Иосиф и другие», 1994). В книге «Голем» (1997) И. Кагоун переосмысляет знаменитую легенду в соответствии с «детским» взглядом и восприятием ребенка (главными героями становятся дети).

Особым образом отразился на трансформации жанра авторской сказки спрос на энциклопедические издания: здесь он показывается с иронической точки зрения. Примечательно, что в предшествующий период данное явление не представлено, по крайней мере в столь явно выраженной форме. Безусловно, влияние на возникновение подобной тенденции в литературе оказала «Книга вымышленных существ» Х.Л. Борхеса, написанная еще в 1954 г. (в 1967 и 1969 г. автор дважды перерабатывал ее), однако на чешском языке опубликованная лишь в 1988 г.⁸, а также литература фэнтези. Ведь огромную роль в литературном процессе не только в Чехии, но и во всем мире стали играть переводы произведений Дж.Р.Р. Тол-

Катержины Вилемины, герцогини Заганьской», секретарь издательства «Млада фронта» Владислав Горский, встречает привидение.

⁸Тенденцию к ироническому переосмыслению потребности современного человека в четких энциклопедических знаниях нельзя назвать уникальной и специфической для чешской литературы. Помимо «Книги вымышленных существ» Борхеса схожие описания нечистой силы можно найти в «Фантастической зоологии» Я. Гондовича, в «повести-сказке для научных работников младшего возраста» А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу», в конце которой приведена характеристика различных видов нечистой силы, составленная героем произведения, «Бестиарии» А. Сапковского и др. И все же по сравнению с современным этапом еще в середине XX в. в чешской литературе такие произведения – скорее редкость.

киена – «Хоббит, или туда и обратно» (чешский перевод – 1991 г.), «Властелин колец» (чешский перевод – 1990–1992 гг.), «Сказки» (чешский перевод – 1992 г.). Широкое распространение фантастической литературы и влияние фантастических и сказочных элементов на самые разные области поэтики современных «нефантастических» литературных произведений во многом объясняется общемировым успехом именно этих книг.

Фольклорное «знание» о сказочных персонажах, подобно научному знанию, подвергается строгой систематизации, однако уже в пародийной форме. Известными «исследователями» и знатоками нечистой силы стали Й. Вахал («Садик дьявола, или География привидений», 1992) и В. Климтова («Словарь находящихся под угрозой исчезновения привидений – полевых, лесных и домашних») в трех частях, 1992–1995 гг., два раза переиздававшийся за последние годы). Огромный успех книг Климтовой привел к появлению в 1998 г. «Призраковедения, или Большого атласа маленьких привидений» М. Скалы и М. Зезулы и «Словаря привидений» (2007) И. Пехи, также оформленного как энциклопедия, в которой с научной точностью приводится информация о 40 видах обитающей в Чехии нечистой силы. Каждый раздел содержит детальную характеристику определенного сказочного существа с описанием его нрава, местообитания, рабочего времени, пристрастий, средств защиты от него и охраны в современном мире. В конце раздела приводится несколько сказок или легенд, в которых главным действующим лицом становится именно это существо. Таким образом, сказка становится частью казалась бы вполне прозаической, обыденной, взрослой жизни, нуждающейся в осмыслении и структурализации, а ощущение присутствия волшебства в реальности рубежа XX–XXI вв. оказывается как никогда острым.

Особо хотелось бы упомянуть книгу М. Вивега «Короткие сказки для усталых родителей», в которой хорошо представлены проникновение сказочных элементов в реалистическое повествование и взаимодействие художественных принципов детской и взрослой литературы. Книга начинается с обращения автора к взрослому читателю: «Милые родители! На свете существует множество книг для детей, но осмелюсь утверждать, что эту книгу написал человек, который думал прежде всего о вас» [б. S. 7]. Это подтверждает и сама структура текста, который графически разделен на две части: пассажи, написанные для взрослого читателя, автор выделил синим цветом. В свою очередь текст, предназначенный для чтения детям вслух, напечатан черным шрифтом. Таким образом, «Короткие сказки для усталых родителей» – это два текста в одном, причем тексты эти созданы для значительно различающихся по восприятию возрастных групп. В результате возникает эффект доверительного взаимопонимания между автором и читателем – ведь писатель «позаботился» о том, чтобы произведение было интересно не только ребенку, но и взрослому.

«Короткие сказки для усталых родителей», впрочем, нельзя отнести к жанру литературной сказки. Это реалистические истории практически без обращения к «памяти жанра» и поэтике фольклорной сказки. Сходство лишь в «функции» сказок и коротеньких рассказов Вивега, их роли в современной жизни: чтение детям вслух перед сном. Однако отдельные сказочные элементы (нравственный императив, волшебные функции предметов) здесь все же присутствуют, поэтому мы можем говорить о том, что произведение относится к жанровой «периферии» сказки. Вивег недаром назвал свою книгу «Короткие сказки для усталых родителей». В названии заложен двойной смысл: с одной стороны, поясняет писатель в предисловии, сказки для детей должны быть короткими и понятными и не должны утомлять «современных» родителей, вернувшихся домой вечером после работы. Автор сознательно противопоставляет свои произведения чешской сказочной традиции, сообщая, что хотел написать тексты, совсем не похожие на чешские национальные сказки в их классическом понимании. По мнению Вивега, сказки

К.Я. Эрбена – классика чешской фольклористической сказки XIX в. – на самом деле жестоки, непонятны и совершенно не предназначены для восприятия ребенком (писатель даже шутливо предполагает, что Эрбен «или был садистом, или же находился в ужасном настроении, когда писал свои сказки» [б. S. 7]).

С другой стороны, название «Короткие сказки для усталых родителей»⁹ «высвечивает» еще один смысл («сказки для родителей»), заставляя нас задуматься о том, что эти произведения написаны прежде всего для взрослых, в то время как мнимая предназначенность этого жанра детям также становится для Вивега одной из форм литературной игры. Комический эффект строится на несоответствии, стилистическом и смысловом контрасте между «детским» вариантом произведения и полным текстом «для взрослых». Книга Вивега завершается шутливой (однако в то же время поучительной) главой «Психологически важная сказка только для родителей», в которой родителям девочек Сары и Бары – главных героинь произведения – является ангел и объясняет им, что значит быть плохими и хорошими мамой и папой.

Таким образом, по сравнению с предыдущим периодом (вторая половина XX в.) «периферия» жанра авторской волшебной сказки в современной чешской литературе расширяется и значительно обогащается, особенно в области литературы для взрослого читателя. Сегодня авторская сказка – это активный и продуктивный жанр в сфере взаимодействия с иными жанрами – литературной легендой, мифом, фантастикой, реалистическим романом, романом постмодернизма. Современной литературной сказке в большой степени свойственна интертекстуальность – одна из главных черт постмодернистской поэтики.

Итак, на рубеже XX–XXI вв. чешская авторская волшебная сказка обретает новое рождение по меньшей мере на трех уровнях: уровне детской литературы, авторской сказки для взрослых и на уровне взаимодействия с иными литературными жанрами в рамках тенденции к смешению границ жанров и размыванию их канонов – тенденции, особенно активизировавшейся в конце XX – начале XXI в. В области «ядра жанра» остаются, в основном, авторские сказки для читателя-ребенка. В них сохраняется «память жанра» – не только фольклорной сказки (через традицию сказки фольклористической), но и литературной сказки первой половины – середины XX в. В то же время «сказка для взрослых» как жанр не очень характерна для современной чешской литературы. Она уходит в сферу «периферии», на которой происходит взаимопроникновение жанровых структур, становится областью эксперимента.

Фольклористическая сказка с некоторыми изменениями сохраняется в области детской литературы до сих пор, тем не менее, уступая место разнообразным авторским переосмыслениям. Задачей писателей перестало быть сохранение канона народной сказки для взрослого читателя; теперь они стремятся сохранить канон фольклористической сказки для читателя-ребенка. Образцом для таких авторов становится сказочное творчество «классиков» этого жанра – Б. Немцовой и К.Я. Эрбена.

Таким образом, фольклорно-сказочная традиция находит воплощение в самых разнообразных жанрах современной литературы, не только детской, но и взрослой. На наш взгляд, подобная устойчивая тенденция в литературе и искусстве в целом во многом объясняется желанием современного человека увидеть и почувствовать чудо в реальности и подсознательным стремлением к уходу от нее в мир воображения и сказки.

⁹ Сказка в данном случае является скорее синонимом вымысла, неправдоподобной истории. Не будем забывать, что в названии произведения мы имеем дело с авторским определением жанра.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Machala L.* Literární bludiště. Praha, 2001.
2. *Шерлаимова С.А.* Чешский роман конца XX века: между постмодернизмом и новым автобиографизмом // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. Прерывность – непрерывность литературного процесса. М., 2002.
3. *Литовецкий М.Н.* О чем «помнит» литературная сказка? Семантическое ядро историко-литературных модификаций жанра // Модификация художественных форм в историко-литературном процессе. Свердловск, 1988.
4. *Ковтун Е.Н.* Художественный вымысел в литературе XX века: Уч. пособие. М., 2008.
5. *Erben V.* O strašidlech. Praha, 2002.
6. *Viewegh M.* Krátké pohádky pro unavené rodiče. Brno, 2007.



Т. МЕРАИ. 13 дней. Имре Надь и венгерская революция 1956 года.
М., 2007. 272 с.

Вышедшая на русском языке биография Имре Надя, принадлежащая перу известного политолога и публициста венгерской эмиграции Т. Мераи, относится к числу в известном смысле классических работ по истории венгерского кризиса 1956 г. Т. Мераи, родившийся в 1924 г., в 1940-е годы примкнул к компартии, подобно многим тысячам своих соотечественников увидев в ней конструктивную силу в стране, прежняя политическая элита которой, сделав губительный выбор в пользу третьего рейха, привела Венгрию к бесславному поражению в войне. В начале 1950-х годов он уже был преуспевающим журналистом центральной партийной газеты «Szabad Nér», был удостоен престижной премии Кошута за репортажи о войне в Корее. Позже, после XX съезда КПСС, пришло прозрение. «Не мы сфабриковали обвинение и не мы произнесли приговор, но мы уверовали в ложь и сами повторяли ее», – писал Мераи в венгерской реформ-коммунистической прессе 6 октября 1956 г., в день торжественного перезахоронения Ласло Райка, деятеля компартии, ставшего осенью 1949 г. жертвой инсценированного судебного процесса, сфабрикованного от начала до конца в целях разоблачения противника Сталина – маршала Тито. Впрочем, уже в 1953 г. Мераи относился к числу журналистов, всецело поддерживавших реформаторскую программу первого правительства И. Надя, что стоило ему после отката реформ в 1955 г. изгнания из партийной газеты и других неприятностей. После драматических событий осени 1956 г., в парижской эмиграции, он приступил еще при жизни И. Надя (казненного летом 1958 г. по обвинению

в организации в октябре – ноябре 1956 г. «контрреволюционного заговора») к написанию биографии человека, который, не перестав быть в душе коммунистом, ищущим пути примирения выношенных им идей с объективной реальностью и национальными ценностями, стал для многих тысяч венгров символом перемен, направленных на ликвидацию монопольной власти компартии.

Вышедшая в 1958 г. во Франции книга «Тринадцать дней, которые потрясли Кремль (Имре Надь и венгерская революция)» тут же стала бестселлером, была переведена с французского оригинала на несколько языков, в том числе и русский – в 1961 г. ее опубликовало в несовершенном, наспех сделанном переводе нью-йоркское эмигрантское издательство (к новому русскому изданию 2007 г., подготовленному на основе 8-го, исправленного и дополненного, венгерского издания 2006 г., Мераи написал специальное, принципиально важное послесловие). Почти три десятилетия Т. Мераи редактировал газету «Irodalmi Ujság», продолжавшую в эмиграции традиции венгерской революционной прессы осени 1956 г. Возглавлял международный Пен-клуб писателей-изгнанников. В год 30-летней годовщины казни И. Надя по инициативе Мераи был воздвигнут памятник Имре Надию и другим жертвам репрессий в Венгрии конца 1950-х годов на известном своими историческими традициями парижском кладбище Пер Лашез. Этот акт поддержали в своем письме 27 лауреатов Нобелевской премии. На родину после третьейковой разлуки Мераи впервые приехал летом 1989 г., чтобы участвовать в торжественном перезахоронении праха

Имре Надя, и по просьбе семьи покойного произнес речь над его могилой.

Точность свидетельств очевидца (Мераи лично знал героя своего жизнеописания) и живость, образность изложения сочетаются в этой, как и других работах Мераи, с мастерством конкретного политического анализа и глубоким знанием исторического контекста. Впрочем, свидетель и очевидец событий ненавязчиво уходят в тень, уступая место исследователю, владеющему всеми доступными ему в то время источниками по изучаемой проблеме. Деятельность Надя показана на фоне исторических процессов, происходивших в его стране в первое послевоенное десятилетие и достигших своей кульминации в остродраматических событиях «будапештской осени».

Вышедшая в год, когда был проведен судебный процесс по делу И. Надя и его соратников, работа Мераи была полемически заострена против обвинительного заключения, предъявленного бывшему премьер-министру на несправедливом суде. Так, реконструируя события 23 октября, автор начисто опровергает версию о преднамеренной подготовке мятежа и захвата власти, показывает, что Надя вел себя в первый день восстания предельно осторожно и сдержанно, не желая давать своим недоброжелателям повод для обвинений во фракционности и подстрекательстве против правящей партии недовольной режимом молодежи. Во взрывоопасной обстановке середины октября 1956 г. он предпочел как бы внешне устранившись и возвратился к активной политической деятельности лишь под сильным давлением не только близких единомышленников, но всего партийного актива. Конечно, Надя опасался провокаций, которые помешали бы ему вернуться в правительство и заняться осуществлением назревших реформ. Но его позиция была довольно четкой, он последовательно придерживался той реформаторской программы, которую не успел реализовать в 1953–1955 гг., хотел сделать эффективнее коммунистический режим и совсем не собирался вводить многопартийность (даже в рамках левого крыла послевоенной антифашистской коалиции), содействовать формированию легальной оппозиции. «Это не дело партии самой создавать себе оппозицию», – спорил он со своими молодыми единомышленниками и не был склонен ни на минуту примкнуть к движению, которое ставило бы под сомнение политическую монополию компартии. Возражал он и против свободных выборов: «А что, если после всех разочарований венгерский народ

изберет своим лидером кардинала Миндсенти? Что тогда будет с нашей народной демократией?»

И все-таки Надя был не просто не чуждым патриотическим ценностям национал-коммунистом, он обладал и чувством ответственности перед народом, гораздо острее большинства партийцев столь высокого ранга осознавал противоречие между коммунистической доктриной (а тем более советской политикой) и реальными чаяниями миллионов венгров. Надя старался и в теории, и на практике способствовать их примирению, хотя и не чураясь компромиссов (ведь политика – искусство возможного). Именно это предопределило его политическую эволюцию в трагические дни «будапештской осени». Человек, совсем недавно принципиально отвергавший многопартийную систему с позиций традиционной коммунистической ортодоксии, к 28 октября Надя, приняв во внимание голос народа, пришел к признанию политического плюрализма, как и требования о выводе советских войск из Венгрии. Выбор, что и говорить, оказался нелегким, пришлось ломать самого себя. Как замечал в этой связи левый французский политолог Клод Лефор, ранее Надя «не мог себе представить, чтобы местом исторических решений была не партия. Он не был способен осознать и то, что массовые выступления зашли далеко и найдут свой путь и без руководителей и без лозунгов. Его рефлексы были рефлексами партийца!» Но к концу октября, с выходом на политическую арену независимых общественных организаций, ревкомов, рабочих советов возникло новое положение. Путь В. Гомулки и А. Дубчека был перед Надем закрыт (хотя он был создан именно для такой роли!). «Он хотел быть хорошим коммунистом и хорошим патриотом в одно и то же время. Это было невозможно» в новых условиях, – замечает Мераи. Приверженность национальным ценностям и неравнодушие народным чаяниям должны были рано или поздно вступить в конфликт с жесткой коммунистической доктриной, и это произошло осенью 1956 г. Все прежние попытки Надя примирить большевистско-ленинскую концепцию социализма с национальными интересами, создать социализм, отвечающий не только этим догмам, но и конкретным венгерским условиям, продемонстрировали в октябрьские дни свой утопический характер и были, если не отброшены, то на время оставлены. В ситуации, когда надо было делать решительный выбор, венгерский патриотизм перевесил преданность наднациональной идее и

первой стране «победившего социализма». Сделав решительный шаг к сближению с массовым народным движением за суверенитет, он переступил грань, отделяющую функционера-партийца, исходящего прежде всего из интересов своего узкого движения, от политика общегосударственного, общенационального масштаба. Верный «москвит» коминтерновской выучки превращался в венгерского национального революционера, последователя традиций 1848 г. В книге Мераи впервые возник аллегорический мост через бездну, отделяющую партию от народа, и образ Надя, стоящего на этом мосту, впоследствии нашедший яркое художественное воплощение в скульптуре выдающегося мастера Имре Варги на площади Кошута в Будапеште возле парламента.

Правдой, однако, было и то, что решающий шаг был сделан Надем слишком поздно, чтобы закрепить завоевания антитоталитарной революции («революции потерянных 48 часов»). Мераи отнюдь не идеализирует своего героя, проявлявшего очевидные просчеты в практической политике. Так, Надя оказался явно не на высоте положения и стоящих перед ним задач утром 4 ноября, в момент решающей советской военной акции. Его известное заявление по радио с обращением к народу только дезориентировало многие тысячи венгров, а последующее бегство в югославское посольство не просто нанесло удар по легитимности правительства, но было само по себе проявлением человеческой слабости. Все-таки Надя избежал морального падения, отказавшись признать новое правительство, навязанное извне. А позже, своим героическим сопротивлением попыткам заставить себя играть по чужому сценарию искупил в моральном плане свои ошибки, допущенные в минуту слабости.

По мнению Мераи, трагедия Имре Надя заключалась в том, что он не поспевал за изменениями в настроениях масс, будучи пленником собственных идей и проектов (в том числе планов коренного реформирования правящей партии), и долго не понимал, что для народа не представлял уже актуальности вопрос о неприемлемости некоторых партийных вождей, неприемлема была вся коммунистическая система. Именно постоянное запаздывание с решением насущных задач и не всегда адекватные меры по их решению вели к углублению кризиса, для выхода из которого советское руководство (надо сказать, после длительных колебаний) избрало жесткий силовой вариант. Значения первопродходческой работы Ме-

раи для осмысления мотивов действий Имре Надя в дни венгерского кризиса не перечеркивают исследования историков новых поколений, в частности фундаментальная биография Имре Надя, принадлежащая перу крупнейшего специалиста по новейшей истории Венгрии Яноша Райнера.

Некоторые конкретные гипотезы Мераи также получили документальное подтверждение в 1990-е годы, когда были рассекречены документы из советских и венгерских архивов. Так, он первым в историографии обратил внимание на взаимосвязь между поворотами в советско-югославских отношениях и развязкой в деле И. Надя. Обнародованные в 1996 г. записи заседаний Президиума ЦК КПСС по «венгерскому вопросу» в целом подтверждают также справедливость представлений Мераи относительно логики, во многом двигавшей в конце октября 1956 г. Н.С. Хрущевым при окончательном принятии силового решения. Лидер КПСС должен был в интересах сохранения власти предотвратить формирование враждебной ему оппозиции, доказав соратникам по партии, что он дорожит унаследованной от Сталина системой социализма (по Мераи, «советской империей») не меньше других.

Симпатизируя венгерской революции, Мераи в то же время, не в пример многим западным авторам, не был склонен замалчивать ее теневые стороны, когда «гнев народа обрушивался на жертвы, неповинные в преступлениях», вплоть до того, что в последние несколько дней октября «личевание стало обычным явлением». Он признавал также, что в дни революции в Венгрии можно было наблюдать некоторые крайне правые тенденции. Но основной характер событий определяло, по его мнению, другое – доминировавшее требование соединения национальных и социалистических ценностей, с которым выступали все наиболее значительные силы, заявившие о себе на политической сцене. К 3 ноября, доказывает автор, отчетливо обозначилась тенденция к нормализации, пресеченная советским военным вмешательством.

Правительство Имре Надя, свергнутое 4 ноября вследствие крупномасштабной советской военной акции, сменило правительство Яноша Кадара, принявшее правила игры, диктуемые из Москвы. По мере последующей эволюции режима Кадара, формирования специфической венгерской модели социализма, при которой Венгрия всего за десять лет из обузы для СССР превратилась в витрину «социалистического

содружества», западным политологам приходилось сопоставлять потерпевшего тяжелое поражение идеалиста Надя с более успешным, хотя и циничным прагматиком Кадаром, попытавшимся в непростой обстановке, сложившейся после поражения венгерской революции, реализовать на практике с оглядкой на Москву хотя бы некоторые из реформаторских идей 1956 г. Иногда сравнение даже оказывалось в пользу Кадара, чьи эксперименты с реформированием «реального социализма» в начале 1970-х годов привлекали пристальное внимание на Западе и внушали кое-кому неоправданные иллюзии (разочарование пришло к концу 1970-х). Конечно, реформаторскому имиджу Кадара здорово вредила жестокая расправа над Надем и для того, чтобы образ венгерского лидера выглядел более незапятнанным, приходилось многое, если не все, списывать на Москву. Только в 2000-е годы в рамках трехтомного проекта «Президиум ЦК КПСС. 1954–1964» были опубликованы документы из архивов ЦК КПСС, неопровержимо свидетельствующие о том, что в феврале 1958 г. Москва предоставила Кадару шанс закончить дело без вынесения смертных приговоров, но он этим шансом сознательно не воспользовался. Впрочем, и сейчас не трудно столкнуться с инерцией прежних стереотипов о диктате Москвы. Достаточно взять в руки биографию Хрущева, принадлежащую перу американского историка У. Таубмана и опубликованную в 2005 г. и в русском переводе в серии ЖЗЛ. Книгу, нашушевую, удостоенную Пулитцеровской премии, но неровную по качеству.

Не обходит проблемы Кадара и Мераи. В специально написанном для российского читателя послесловии он, изменив приобретенному амплуа историка и политолога в пользу публицистики, дает Кадару такую характеристику, которую едва ли можно считать объективной: прилагающий «людоедские усилия» «фанатичный, одержимый человеконенавистник», который долгие месяцы не мог смириться с тем, что ему никак не удастся отправить Имре Надя на эшафот, и все же дождался удобного для Москвы момента и сделал свое черное дело. Не прислушавшись к опытному китайскому коммунисту Чжоу Эньлаю, посоветовавшему не казнить главных деятелей контрреволюции, дабы не делать из них мучеников.

По Мераи, идея отправить Имре Надя на эшафот созрела у Кадара в первые же недели после прихода к власти. Недаром, «заполучив» так и не подавшего в отстав-

ку премьер-министра, задержанного при выходе из югославского посольства и отправленного 23 ноября в Румынию, он, не скрывая радости, заметил в беседе с соратниками: «Никакой отставки не надо, дело сделано». Если так, то все позднейшие высказывания Кадара в беседах с западными политиками о том, что Надя остался бы жив, уйди он вовремя и уступи дорогу новому правительству, – это не более чем создание мифов. По мнению Мераи, в течение трех десятилетий Венгрией управлял «закоренелый, кровожадный, циничный, хладнокровный, расчетливый и жадный до власти убийца», и этого «вовсе не смягчает, не компенсирует тот факт, что позже он ловко использовал позицию советского руководства, которое, опасаясь нового 1956 года, дало венграм, этому странному, ни славянскому, ни германскому, ни латинскому народу, чуть-чуть больше свободы, чуть-чуть больше “либерализма”, чем жителям остальных своих колоний. Не компенсирует этого ни то, что он притворялся “отцом народа”, простецким пролетарием, ни то, что многие западные “политики-реалисты” спустя какое-то время не только считали его вполне приличным человеком, но просто-таки наперегонки искали его благосклонности» – к нему приезжали Тэтчер, Миттеран, его принимали Жискара Д’Эстен и папа Павел VI. Таким образом, под пером биографа Имре Надя успешный коммунистический лидер-прагматик Янош Кадар, более 30 лет стоявший во главе Венгрии, не просто демонизируется, он криминализируется.

Но можно ли оценивать роль Кадара в новейшей венгерской истории только по тому, как он проявил себя в деле И. Надя? Конечно же, нельзя снимать с многолетнего лидера ВСРП тяжелой ответственности за репрессии, совершенные после 1956 г. Верно, и то, что Кадар умело эксплуатировал сложившийся на Западе образ либерального коммуниста-прагматика, пользуясь недоступностью документов о своей подлинной роли в расправе над И. Надем. Но показательно и другое. Как только угроза режиму была отодвинута, Кадар тут же предпринял далеко идущую амнистию. Уже это свидетельствует о том, что он был не убийцей-маньяком, а жестким прагматиком. Кроме того, Кадар сам добился у советского руководства (в известном смысле отвоевал) для своего народа большей свободы – взамен за послушание в принципиальных внешнеполитических вопросах. На протяжении всей 30-летней эпохи на человека, стоявшего во главе Венгрии,

налагали ограничения объективные условия. Любой политик, который хотел что-то сделать для страны, должен был соблюдать определенные правила игры в отношениях с Москвой, подчиняться блоковой дисциплине. Только люди приемлемые для руководства КПСС могли после 1956 г. активно проявить себя на поприще государственной деятельности. Своим несомненным политическим реализмом Кадар выгодно отличался от тех, кто склонен был безответственно призывать на баррикады. Его позиция была востребована эпохой, ведь именно компромисс в тех условиях отвечал интересам нации, точно также, как в 1867 г. венгерская политическая элита во главе с Ференцем Деаком пошла на компромисс с домом Габсбургов, тем самым обеспечив оптимальные условия для развития страны в течение нескольких десятилетий. Своей внешнеполитической лояльностью Москве Кадар отвоевал себе поле для проведения более самостоятельной внутренней политики, осуществления ограниченных реформ, все-таки превративших Венгрию на какое-то время в витрину соцсодружества. Значит, можно говорить о политическом мастерстве человека, который из ненавидимого подавляющим большинством венгров ставленника другого государства через 12–15 лет превратился в наиболее популярного в своей стране восточноевропейского лидера. Однако, правда, и то, что компромиссная политика Кадара, хотя и сделала менее болезненной смену систем, вместе с тем отнюдь не предотвратила экономический кризис и последующий политический крах венгерской модели социализма. В 1958 г. Тибор Мераи задавался в своей книге вопросом: «Каков будет финал этой системы управления, прибегающей к по-

добного рода средствам?» Кадар частично ответил на этот вопрос эволюцией своей системы. Но финал все-таки мало чем отличался от того, как завершили свои дни другие коммунистические режимы.

Кончина Кадара в июле 1989 г., символизирующая завершение целой эпохи в истории Венгрии, почти совпала по времени с перезахоронением Имре Надя и случилась день в день с его полной реабилитацией судебными органами. Человек, с большим или меньшим успехом управлявший Венгрией более 30 лет, еще при жизни мог увидеть сделанный своей нацией выбор в пользу чуждых ему западных моделей, основанных на политическом плюрализме. С 33-летней дистанции стал очевиден парадокс: не будучи в отличие от Кадара сильным практическим политиком и хуже представляя себе пределы возможного, И. Надя, ставший знаменем сил, выступавших в конце 1980-х годов за смену системы, заочно доказал свою историческую правоту. Более того, личность этого неудачливого на практике коммуниста-реформатора выросла до размеров моральной антитезы всем несправедливостям, допущенным в Венгрии в эпоху коммунистического правления. Главный же вывод, к которому приходишь при прочтении книги Т. Мераи, таков: политические ошибки И. Нады, его неспособность овладеть ситуацией в трагические дни октября 1956 г. не перечеркивают значения морального примера, который он дал в последние полтора года жизни последовательным отстаиванием убеждений, в своих основных, наиболее значительных моментах совпадавших с чаяниями венгерской нации.

© 2011 г. А.С. Стыкалин

Славяноведение, № 6

До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства (Центральная и Юго-Восточная Европа первой трети XX в.) / Отв. ред. А.Л. Шемякин. М., 2009. 432 с.

В последнее время в отечественной историографии проявился особый интерес к личности и ее роли в истории, что вполне оправдано, поскольку уравнивает прежний крен в сторону абстрактных изысканий из истории классов, социальных групп,

их борьбы и смены общественных формаций. Широкий круг читателей, несомненно, лучше всего воспринимает историю через судьбы отдельных людей. Особенно, если эти люди, как герои рецензируемой книги, являются харизматическими личностями,

оказавшими значительное влияние на ход исторических событий. Их судьбы наполнены драматическими событиями, крутыми поворотами и подобны приключенческим романам.

Коллектив сотрудников Института славяноведения РАН и ряд специалистов из других научных учреждений подготовили работу, представляющую галерею портретов лидеров Центральной и Юго-Восточной Европы, вошедших в пантеон национальной истории. Героями этой книги стали не только главы независимых государств, но и вожди народов, входивших в состав противостоявших друг другу империй. В судьбах этих людей есть одна общая особенность – в исторической памяти своих народов их имена и политика оказались связанными с идеей создания единого государства, объединения нации. Представленные в рецензируемой книге государственные и политические лидеры выступили на авансцену истории в переломную для всего континента эпоху, центральным событием которой стала Первая мировая война. Именно с ней они связывали окончательное решение «своего» национального вопроса, реализацию «национального идеала».

Некоторые лидеры региона «послеверсальского» периода однажды уже были объектом исследования почти того же коллектива Отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения. В 1993 г. вышел сборник «Пленники национальной идеи. Политические портреты лидеров Восточной Европы (первая треть XX в.)». Изданный тиражом всего в 250 экземпляров, он тут же стал библиографической редкостью, как это теперь, к сожалению, случается со многими ценными академическими изданиями. В плеяду представленных в нем государственных и политических деятелей вошли монархи стран Балканского региона – болгарский царь Борис III, король Румынии Фердинанд Гогенцоллерн, король бывшей Югославии Александр Карагеоргиевич, главы правительств Греции Э. Венизелос и Югославии Н. Пашич, первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик, национальный лидер воссоединенной Польши Ю. Пилсудский, регент Венгрии адмирал М. Хорти, руководитель хорватского крестьянского движения С. Радич.

Однако новая монография «До и после Версаля» отнюдь не является расширенным (и по числу авторов, и по количеству описанных ими персон) изданием вышеупомянутого сборника. В галерею портретов лидеров Восточной Европы межвоенного

периода вошли 18 политических деятелей. Правда, два очерка переключались из прежнего (статьи М.Д. Ерещенко о Фердинанде I и К.Н. Семенова об Э. Венизелосе); другие же существенно расширены и переработаны (статьи Е.П. Серапионовой о Т. Масарике и А.Л. Шемякина о Н. Пашиче). Вместо болгарского царя Бориса в рецензируемом сборнике присутствует его отец – царь Фердинанд Саксен-Кобург-Готский (О.Н. Исаева). Книга содержит и новые тексты об уже известных героях: Ю. Пилсудском (Г.Ф. Матвеев), М. Хорти (Н.А. Асташин), короле А. Карагеоргиевиче и политике С. Радиче (А.А. Силкин). Возможно потому, что интерес к этим историческим личностям не снижается на протяжении уже многих десятилетий. Как справедливо пишет Г.Ф. Матвеев, имя Пилсудского «несомненно, знакомо каждому современному поляку, так же как оно было повсеместно известно 20, 40 и 60 лет тому назад». Автор статьи сумел дать непредвзятую оценку человеку, еще в юности сформулировавшему для себя высокую цель – вернуть своей родине, Польше, свободу и независимость, и сумевшему дожить до ее осуществления. Несмотря на все превратности судьбы, Пилсудский воодушевил этой целью, увлек за собой тысячи людей и, в конечном счете, внес огромный вклад в возрождение польской государственности.

В книге представлены и новые государственные и политические деятели: одна из знаковых фигур как для Болгарии, так и для Македонии – Т. Александров (Р.П. Гришина), венгерский премьер П. Телеки (А.И. Пушкаш), видный польский политик, основатель «пястовской» концепции развития Польши Р. Дмовский (Л.С. Лыкошина), четырежды глава румынского правительства, некоронованный правитель Румынии в судьбоносные годы Первой мировой войны И.К. Брэтиану (В.Н. Виноградов), первый чехословацкий премьер-министр чех К. Крамарж и военный министр словак М. Штефанек (Е.П. Серапионова), председатель Словенской народной партии А. Корошец (Н.С. Пилько), один из лидеров младотурок И. Энвер-паша с его модификацией турецкой национальной идеи (Р.Р. Субаев).

Данный труд является третьим в серии исследований, посвященных периоду до и после Версальской мирной конференции и подготовленных в Отделе истории славянских народов периода мировых войн («Версаль и новая Восточная Европа». М., 1996; «Восточная Европа после “Версаля”». СПб., 2007). Авторы рецензируемой

книги стремились отразить через жизнь и политику своих героев процессы развития молодых независимых государств во всем многообразии обстановки того времени. При этом особое внимание уделено проблеме вхождения во власть политиков, которые должны были учитывать последствия революционных перемен в Советской России. Так, избранный послевоенными политическими лидерами путь реформаторского обновления общества позволил сохраниться балканским монархиям. Королевские дворы Карагеоргиевичей, Кобургов и Гогенцоллернов хорошо усвоили печальный урок крушения царизма в России.

Не менее интересны статьи о становлении режима буржуазной демократии в республиканской Чехословакии с приходом Т.Г. Масарика и авторитарной диктатуры М. Хорти в Венгрии. Портреты этих деятелей высвечивают судьбу их государств: демократическая Чехословакия не смогла противостоять германскому диктату; хортистский режим наглядно показал, как произошла коррупция национальной идеи, лежавшей в основе образования новых государств после Первой мировой войны.

Особо хочется отметить присутствие в книге статей, объединенных рассмотрением (с различных позиций) так называемого македонского вопроса. К началу XX в. он превратился в самую острую региональную проблему, имевшую не только геополитическое, но и национальное содержание. К этому времени Македония – сердцевина Балкан с чрезвычайно смешанным в этноконфессиональном отношении населением стала не только центром антиосманской борьбы, но и «яблоком раздора» между соседними государствами. Македонская тема накрепко спаяла всех государственных и политических деятелей Балкан. Болгарский царь Фердинанд, вступивший в Первую балканскую войну в надежде обрести Македонию, потерпел жестокое поражение и потерял корону. Как пишет автор статьи о болгарском монархе О.Н. Исаева, «в погоне за призраком Великой Болгарии Фердинанд превратился из носителя национальной идеи в ее заложника и жертву». Король Югославии Александр Карагеоргиевич, который в итоге Балканских войн обрел треть Македонии, погиб от руки македонского националиста. Македонская тематика присутствует и в главе К.Н. Семенова об Э. Венизелосе – блестящем дипломате и ярком государственном деятеле-реформаторе.

Впервые в отечественной литературе создан портрет одного из лидеров македон-

ского национального движения Т. Александрова – революционера-террориста, принимавшего самое непосредственное участие во всех перипетиях македонского вопроса. Еще до недавнего времени в исторической и мемуарной литературе (главным образом болгарской) Т. Александрова либо превозносили и хвалили, либо ругали, а его деятельность замалчивали, он побывал и героем национально-освободительной борьбы, и военным преступником. Основываясь на недавно введенных в научный оборот болгарскими специалистами документальных материалах, автор соответствующей статьи Р.П. Гришина попыталась воссоздать объективный образ этого крайне неоднозначного политического деятеля, развенчав «миф о легендарном болгарском патриоте».

Следует отметить присутствие в сборнике статьи о «гетмане всей Украины» П.П. Скоропадском (автор Е.Ю. Борисенко). В статье продемонстрирован осмысленный и взвешенный подход к непростой фигуре Скоропадского, наглядно показано, что его привязанность к двум культурам – украинской и русской – зачастую вызывало неприятие и у радикальных националистов, и у сторонников «единой и неделимой России». В статье приводится меткое выражение Н.М. Могилянского, характеризующее особенности исторического портрета гетмана Украинской державы: «Скоропадский был достаточно русским, чтобы не предать интересов России, он был искренним украинцем, чтобы не дать в обиду украинские интересы».

Отметим, что не все из героев рецензируемой книги оказались в межвоенный период на пике влияния в своих странах. Одни (Фердинанд Болгарский, Энвер-паша) именно после войны пережили крах иллюзий и былого могущества, другие промелькнули на политическом небосклоне как метеор (П.П. Скоропадский). Но, как сказано в предисловии к книге, всех их под единую обложку свела «одна, но пламенная страсть» – желание «раз и навсегда» решить национальный вопрос в его «интегральной» форме, с причудливой эволюцией этого понятия в сознании конкретных «борцов»...

Сочетание самых разноплановых документов и материалов, их объективная и беспристрастная трактовка, отражение позиций разных слоев внутри обществ отдельных стран, а также показ внешнеполитических факторов – все это предопределяет ценность работы, проделанной коллективом ученых-профессионалов. Представля-

ется уместным и приложение – письма премьер-министра П. Телеки регенту М. Хорти.

В заключение отметим, что обращение к рассматриваемому периоду истории региона, отличающемуся динамизмом исторического процесса, радикальными общественно-политическими переменами, вполне оправдано и актуально. Как и во всякой творческой работе, в рассматриваемой монографии можно найти отдельные

недочеты, с чем-то поспорить. Но основные положения не вызывают возражений, работа написана хорошим языком и тщательно отредактирована. Бесспорно, в академической историографии появилось во многом оригинальное исследование, которое вызовет значительный интерес российских и зарубежных читателей.

© 2010 г. *Е.Л. Валева*

Славяноведение, № 6

Учені Росії про Закарпаття: Із карпатознавчої спадщини. Ужгород, 2009. 256 с., 56 іл.

Ученые России о Закарпатье: Из наследия карпатоведения

В 2009 г. на Украине вышла в свет примечательная публикация, подготовленная профессорами Ужгородского национального университета О.С. Мазурком и И.О. Мандриком. Она включает труды известных российских ученых, посвященные проблемам рутенистики. Среди них И.И. Срезневский, В.А. Францев, А.Л. Петров, Г.А. де Волан, Е.Ю. Перфецкий, В.И. Вернадский, В.В. Саханев, С.К. Маковский, П.Г. Богатырев.

Сама идея переиздания работ исследователей Закарпатского края представляется весьма плодотворной и актуальной. В настоящее время русины – основное население края – переживают по словам канадского ученого П.Р. Магочи, одного из ведущих исследователей проблем Закарпатья, свое третье национальное возрождение и активно борются за признание своей национальной идентичности и автономию. Проблемы Закарпатья издавна изучались учеными разных стран и национальностей, и в каждой национальной историографии они рассматривались (исходя из научных традиций и политической конъюнктуры) под своим углом зрения.

Российская рутенистика имеет богатые научные традиции. Проблемы Угорской Руси и Закарпатья привлекали внимание ученых уже в период становления славяноведения в России, во время командировок первых университетских славистов в славянские земли на рубеже 1830–1840-х годов для подготовки к занятию кафедр славистики, учрежденных новым университетским уставом 1835 г. Особенно пре-

успел в изучении края кандидат от Харьковского университета, будущий академик И.И. Срезневский. Ему удалось собрать сведения об истории края, этнографических особенностях русинского населения и его диалектов. Все это он систематизировал и представил на заседании Русского географического общества в 1852 г. Таким образом, его очерк «Русь Угорская» стал достоянием русской научной элиты, заложив основы лингвогеографии в России. До сих пор он сохраняет непреложное научное значение, в том числе и как свидетельство исследователя-очевидца, зафиксировавшего состояние русинского населения в определенный период (1840-е годы).

В дальнейшем в изучение данной проблематики включились другие видные слависты – В.А. Францев, Ф.Ф. Аристов, А.Л. Петров, Ю.А. Яворский и др. Их прежде всего привлекали проблемы развития церковно-славянской письменности на территории Угорской Руси и литературно-культурной деятельности русинских «будителей» А. Духновича, А. Павловича и др. Все они в большей или меньшей степени исходили из концепции древнерусского единства и рассматривали русинов неким островком «русскости» в Карпатах.

Традиции дореволюционного отечественного славяноведения продолжили российские эмигранты в межвоенной Чехословацкой республике. Среди них В.А. Францев, Е.Ю. Перфецкий, В.В. Саханев, Ю.А. Яворский и др., а также А.Л. Пет-

ров и П.П. Богатырев, советские граждане, жившие на положении эмигрантов. Своими трудами они деятельно поддерживали русофильское направление в тогдашнем русинском обществе.

Необходимо отметить, что составители сборника при отборе статей российских карпатоведов руководствовались, разумеется, концепцией украинской национальной историографии. Они представили наиболее нейтральные в отношении «русофильства» работы российских ученых, касающиеся истории края, историографические обзоры литературы, труды по этнографии, устному народному творчеству и диалектологии. Весьма положительно, что составители включили в сборник статьи российских ученых в совокупности, включая эмигрантов, представляя рутенистику в едином потоке, что в нашей историографии никогда не предпринималось. Однако нельзя не заметить, что из поля зрения составителей выпали работы, касающиеся исследований проблем церковно-славянской письменности, литературного творчества известных деятелей русинского национального возрождения, не представлено ни одной работы выдающихся карпатоведов Ф.Ф. Аристова, Ю.А. Яворского (последний, впрочем, тяготея к русофилам, происходил из Галиции) и др. В то же время в сборник включены четыре (!) статьи В.В. Саханева, касающиеся народного изобразительного искусства Карпатской Руси (хотя и безусловно важные и оригинальные в научном отношении). Такой подбор статей несколько искажает объективную картину развития российской рутенистики и ее исследовательские приоритеты.

Что касается самих предшественных работ, то каждая из них, безусловно, имеет непреходящую научную ценность, является памятником своей эпохи. Разбросанные по разным отечественным и зарубежным изданиям прошлого и даже позапрошлого веков, собранные в совокупности, они представляют значительный интерес для современных исследователей Закарпатья.

Хотелось бы поставить в заслугу издателям интересный и обширный иллюстративный материал этнографического характера, помещенный в книге. Не хватает, на наш взгляд, только портретов ученых-карпатоведов и, может быть, титульных листов их трудов. Положительным моментом публикации являются также подробные библиографические справки о каждом из ученых, выдержанных в духе академизма.

Публикацию предваряет содержательное предисловие, в котором приведены

обширные статистические данные касательно социального состава населения Закарпатья в разные эпохи, его религиозной принадлежности, данные по истории края и языковых отношений в нем. Понятно, что авторы разделяют официальную точку зрения украинской историографии, согласно которой русины являются неотъемлемой частью украинской нации с некоторыми языковыми и этнографическими особенностями, игнорируя их борьбу за самоидентификацию.

Не разделяя подобной позиции, мы отдаем должное авторам в том, что они мужественно выступили против русофобских настроений на Украине эпохи «оранжевого правления» и признали позитивную сторону развития культурных связей Закарпатья с Россией (с. 20). Результатом такого подхода и явилась данная публикация. Они откровенно писали: «Публикуя тексты ученых России о Закарпатье, мы не исключаем того, что кто-то из читателей, особенно из новоиспеченных “украинофилов”, спросят, зачем это надо было делать? В связи с этим возникает и другая проблема: исследования о “русофильстве”, москвофильстве, которые были распространены в Закарпатье. К сожалению, в последнее время подобные “исследователи” в угоду конъюнктуре вообще отрицают позитивную роль культурных и научных связей Закарпатья с Россией, видя в этих контактах один лишь негатив» (с. 16). «Наши многолетние исследования в архивах и библиотеках Киева, Львова, Черновцов, Берегова, Москвы, С.-Петербурга, Кракова и др. городов, – указывают авторы предисловия, – однозначно подтверждают: такие связи в целом имели позитивное значение для культурного и национального пробуждения коренного населения указанных земель. Но эта интересная и, как ни удивительно, малоисследованная проблема, должна стать предметом специального и детального изучения» (с. 20).

Итак, сборник состоит из 13 статей российских ученых. Они помещены в двух рубриках – *история и историография* и *этнография и народное творчество*. В первой из них опубликованы статьи В.А. Францева «Обзор важнейших исследований Угорской Руси» (1901), Е.Ю. Перфецкого «Обзор угрорусской историографии» (1914), А.Л. Петрова «Задачи карпато-русской историографии» (1930), В.В. Саханева «Из истории унии Карпатской Руси» (1932) и В.И. Вернадского «Угорская Русь с 1848 г.» (1880-е, 1996). В статье В.А. Францева представлен довольно полный обзор

литературы о Карпатской Руси с первой трети XIX в. в хронологической последовательности, включая работы чешских, российских, словацких, венгерских, норвежских, галицийских и других ученых, что дает пищу для осмысления широкой и разнообразной палитры исследовательских интересов. Е.Ю. Перфецкий существенно дополнил историографию, включив в обзор сочинения, начиная с XVII–XVIII вв., посвященные главным образом средневековой истории Закарпатья. В статье А.Л. Петрова конкретизируются задачи изучения источников по истории происхождения Подкарпатской Руси как новой территории межвоенной Чехословакии. Наконец, в интересной, насыщенной ранее неизвестными фактами, статье В.И. Вернадского, хранящейся в архиве ученого в АРАН в Москве и впервые опубликованной О. Мазурком в 1996 г., излагается история русинского национального возрождения. Статья написана в духе идеи общерусского единства, в ней не содержится никаких грез Вернадского о воссоединении украинского народа по двум сторонам Днепра, как это отмечается в комментариях составителей (с. 513).

Во второй части публикации помещены статьи: И.И. Срезневского «Русь Угорская» (1852, 2002), Г.А. де Волана «Угро-русские народные песни» (1885), А.Л. Петрова «Заметки об Угорской Руси» (1930), П.А. Богатырева «Магические действия, обряды и верования Закарпатья» (1929, 1971), три статьи В.В. Саханева «Резьба по дереву в Карпатской Руси» (1932), «Карпаторусский народный орнамент» (1932), «Народное искусство в иконописи Карпатской Руси» (1932), а также С.К. Маковецкого «Народное искусство Подкарпатской Руси» (1925).

О научном значении статьи И.И. Срезневского, которая, по нашему мнению, могла бы открывать данное издание, говорилось выше. В статье Г.А. де Волана говорится об этнографических особенностях

карпатских русинов (в частности верховинцев и долинян), описываются черты их внешнего облика и национального характера, особенности быта и обычаев, народные песни и инструменты. Большую ценность представляет статья А.Л. Петрова, содержащая заметки по этнографии и статистике Угорской Руси. Несомненной заслугой составителей следует считать публикацию на русском языке магистерской диссертации П.Г. Богатырева, защищенной им в 1929 г. и впервые опубликованной на французском. В ней содержатся уникальные сведения об обрядах, обычаях и верованиях карпатских русинов, собранных и систематизированных автором в духе разработок Пражского лингвистического кружка. В статьях В.В. Саханева анализируются особенности народного изобразительного искусства карпатских русинов (резьба по дереву, народный орнамент, иконописание и пр.). Завершает сборник статья С.К. Маковецкого, дополняющая наработки В.В. Саханева. В ней анализируются концепция, размышления автора по поводу примечательной выставки «Искусство и быт Подкарпатской Руси» (Прага, 1924), представляющей домашние ремесла разных районов края: вышивки, керамику, резьбу по дереву, одежду и украшения и пр.

В целом указанный сборник, несмотря на отмеченные недостатки, является ценным вкладом в развитие рутенистики. Надеемся, что в новых политических условиях он даст толчок для более объективного развития украинской историографии. Хотелось бы пожелать авторам продолжить это начинание публикацией работ по рутенистике теперь уже украинских, венгерских, чешских, словацких и польских авторов, чтобы в результате сложилась картина особенностей развития национальных историографий и их приоритетов в освещении Закарпатья.

© 2010 г. М.Ю. Досталь

Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Cambridge, 2008. 508 с.

Динамика национальной идентичности и транснациональных идентичностей в процессе европейской интеграции

В английском издательстве Cambridge Scholars Publishing вышла в свет книга «Динамика национальной идентичности и транснациональных идентичностей в процессе европейской интеграции» по материалам одноименной конференции, организованной отделом балканской этнологии Этнографического института и Музея при Болгарской академии наук. Редактором этого сборника стала Елена Марушиакова, известный специалист по этнологии и культурологии Балкан. Выход в свет сборника продиктован в первую очередь сегодняшними европейскими реалиями, когда вопросы последствий стремительного расширения Европейского союза на Восток для национального самосознания восточноевропейских народов, как титульных наций восточноевропейских государств, так и национальных меньшинств, в том числе Балканского полуострова, получают особое значение.

Последние 20 лет страны Восточной Европы развиваются под знаком интеграции в Европейский союз, и вопрос о «пути в Европу» становится одним из наиболее обсуждаемых как в сферах политики и экономики, так и в сфере культуры. Открытые границы, свобода перемещения людей и капиталов, интенсивные контакты между соседями (в том числе из-за отъезда на заработки за рубеж) породили новые ожидания в обществе, связанные с интеграцией в ЕС.

Цель этой книги составители сборника видят в том, чтобы обратить внимание научной общественности на тенденции изменения национального самосознания и самоидентичности в Центральной и Восточной Европе и формирование нового, транснационального самосознания, в том числе «общеευропейского».

Статьи сборника в основном опираются на теоретические наработки этнологов, историков, политологов, социологов и лингвистов. Такой мультидисциплинарный подход определяется логикой интеграционных процессов в Европе. В восточно-

европейской науке традиционно этнологи концентрируются на компаративистских исследованиях, сравнивая национальные особенности, традиционную культуру народов Европы. Напротив, западноевропейские ученые ориентированы «во вне» относительно собственной (и родственных) культур. Как отмечается в предисловии, авторы хотели бы, с помощью теоретического аппарата столь широкого круга дисциплин, предложить новый, комплексный подход к понятиям «нация», «самосознание», «национализм».

В состав сборника вошло около 30 статей ученых из разных стран, как западных (например, Ирландии), так и восточноевропейских вплоть до Армении, находящейся на географической границе Европы и Азии, но которая с распадом СССР также оказалась вовлечена в общеευропейские процессы интеграции.

Сборник можно условно разделить на несколько тематических блоков. К первому следует отнести статьи, посвященные изменениям, произошедшим в самосознании «больших», государствообразующих народов в связи с интеграцией в Евросоюз (статьи Т. Камуселлы, Ю. Марушиака, И. Седаковой, Г. Далипай, М. Галановой, Т. Матосьяна, М. Дечевой, А. Гыса). Ко второму – работы, в которых поднимаются проблемы самосознания представителей титульных наций, живущих за пределами своего государства, исторически или в результате эмиграции, а также проблемы эмиграции вообще и межэтнических контактов (статьи А. Сореску-Маринкович, С. Антовой, Д. Михаил, М. Ибанез Ангуло, А. Ангелиду, Я. Чапо Жмегач, О. Лелай и Н. Бардгоши, З. Бенюшковой). К третьему – работы по теории самосознания (статьи К. Ковальчик, Я. Рыхлика, П. Банковой, Б. Ристовской-Йосифовской, П. Христова, В. Нициакоса, В.А. Фридмана, Р. Попова, Т. Чепреганова). К четвертому – статьи, посвященные судьбе этнических или религиозных меньшинств, не обладающих собственной государственностью (работы

М. Славковой, М. Маевой, М. Карамиховой, Л. Будиловой, З. Малинова, Е. Анастасовой, И. Думиницы, Э. Эроловой, Е. Марушиаковой, В. Попова). Однако это деление остается условным, что естественно при такой широте заявленной темы. Не менее трудно было бы разделить статьи на основе использованного теоретического аппарата: здесь мы видим и социолингвистическую работу И. Седаковой, и историко-этнографическую статью Э. Эроловой, и социоискусствоведческую К. Ковальчик.

В статье Т. Камуселлы «Польша: вынужденный сдвиг от закрытого этнолингвистически гомогенного национального сообщества к мультикультурному открытому обществу» отмечается относительность идеи «этнолингвистической чистоты» и непосредственной связи между языком, нацией и государством на примерах из истории Европы и современных фактов. Сейчас, с одной стороны, этнолингвистически гомогенным государством объявляется Латвия, в которой этнические латыши составляют только 59% населения (с. 3), а с другой стороны, по идеологическим мотивам прежде единый литературный сербо-хорватский язык разделяется на боснийский, сербский, хорватский и черногорский (в связи с результатами недавнего референдума) (с. 4). Но именно в Центральной Европе автор находит 11 из 23 стран, которые отвечают четырем идеальным критериям «чистоты», предложенным им же (все, говорящие на национальном языке, должны жить в одном национальном государстве; никакой язык, кроме национального, не должен быть допущен к использованию на уровне государства; национальный язык не должен быть разделен с другим государством или нацией; в государстве не должно быть автономных регионов) (с. 3). Автор рассматривает историю этнической политики в коммунистической Польше, выражавшейся по большей части в полонизации так называемых «автохтонов» (т.е. славянского не-польского населения) и высылке в ГДР немецкого населения. В заключение своей статьи Т. Камуселла пытается проанализировать перспективы развития Польши и приходит к выводу, что только многонациональная Польша сможет избежать существенных политических проблем в будущем.

Статья «Динамика музыкальной идентичности цыган в Венгрии: теория расовой/ этнической музыкальной идентичности и место цыган в ней» венгерской исследовательницы К. Ковальчик посвящена самосознанию одного из наиболее проблемных в этом плане народов, а именно цыган, а

точнее тому, что автор называет «музыкальным самосознанием» цыган. Ковальчик отмечает укорененность в венгерской культуре стереотипа о цыгане-музыканте, призванном развлекать представителей доминирующего этноса. Этот стереотип является одним из факторов, ответственных за появление феномена «цыганской поп-звезды» в современной поп-культуре Венгрии. При этом любопытно, что в последние годы наметилась интересная тенденция: этнически цыганские поп-звезды копируют стиль поведения поп-звезд – представителей другого в прошлом маргинализованного этноса, афро-американцев США.

Как следует из названия, в статье Е. Анастасовой «Валахи в Болгарии: транснациональное сообщество» рассматривается адаптация и развитие как нации этнокультурной общности (валахов-аромунов), не обладающей собственной государственностью и рассеянной по нескольким независимым государствам, что особенно важно в балканском контексте. И хотя обычно формирование новой нации неотделимо от требований какой-либо автономии и права на самоопределение, валашское сообщество являет собой удачный пример мирного и в основе своей бесконфликтного укрепления национального самосознания с помощью региональных организаций, подчиненных государственным, которые в свою очередь интегрированы в вышестоящие общеевропейские структуры.

Крайне познавательна, по моему мнению, статья Э. Эроловой «Границы и идентичность: крымские татары в Добрудже». Автор рассказывает читателю о том, что крымско-татарский этнос делится на три субэтноса: южнобережцы, или ялыбойлу, горцы, или таты, и степняки, или ногаи. Несмотря на существующие до сих пор различия в образе жизни, языке и даже в чертах лица, эти три общности сформировали общую крымско-татарскую народность в течение XV–XIX вв. И хотя формировалась эта народность на территории Крымского п-ва, в результате различных демографических и политических процессов основная часть крымско-татарского народа проживает сегодня за пределами Крыма, в том числе на территории Добруджи, которая разделена между Румынией и Болгарией. Переселение крымских татар в область Добруджи происходило в четыре этапа: после установления вассального подчинения Крымского ханства Османской империи (1476), контроля над Крымом России (1783), окончания русско-турецкой войны 1806–1812 гг., когда к

России отошел регион Буджак, где компактно проживали татары, и после окончания Крымской войны (1853–1856). Далее автор достаточно подробно описывает результаты полевых исследований, позволивших установить, как сами татары определяют себя и бытование концепта «чистой крови» среди татар Северной и Южной Добруджи. Не меньше внимания уделено краткому, но информативному описанию элементов культуры, наиболее важных для характеристики самосознания татар, т.е. языка, особенностей религии, кухни, обрядов. Таким образом, автор приходит к выводу, что в современных условиях идея Tatarlık («татарскости») не только не теряет своей популярности, но и активно развивается и поддерживается самими татарами.

Не менее интересна статья Я. Чапо-Жмегач «“Узкие” транснационалы: быть хорваткой по рождению в Германии», представляющая собой пример более «личностного» подхода к проблеме самоопределения. В качестве весьма обширного вступления читателю предлагается ознакомиться с выдержками из интервью, взятого автором у девушки хорватского происхождения, много лет прожившей в Германии. Отмечается, что ее судьба является лишь одной из многих (поэтому это исследование не может претендовать на всеохватность), однако в то же время не уникальна. В заключение статьи Я. Чапо-Жмегач задается вопросом, может ли Европейский союз предложить наднациональную самоидентичность таким людям, которые оказались словно между границами «классических» национальностей? Ответ – нет, так как само понятие «гражданства ЕС» оказывается привязанным к гражданству государств-членов ЕС и, согласно Амстердамскому соглашению 1997 г., является всего лишь дополнительным к «национальному» гражданству. Нельзя быть гражданином ЕС, не будучи при этом гражданином одного из национальных по своей сути государств ЕС.

Работа греческого ученого Д. Михаил «Албанские иммигранты в Западной Македонии: Проблема переосмысления греческого национализма» посвящена тому, как в настоящее время наплыв иммигрантов в Грецию влияет на некоторые аспекты внутренней жизни, неразрывно связанные с идеями греческого национализма. Для мигрантов открываются школы межкультурного образования, которые в целом следуют лозунгу «Один народ – одна религия – один язык» и, таким образом, фактически запускают процесс ассимиляции, не

раз успешно проводившейся греческими обществами на протяжении истории. Автор статьи отмечает, что сами иммигранты не только не сопротивляются ассимиляции, но даже приветствуют ее, охотно забывая свой «непрестижный» и чуждые грекам язык и веру, принимают православие и переходят на новогреческий язык. В статье анализируются причины, по которым молодые албанцы, родившиеся в Греции, так легко используют греческий язык даже дома, принимают крещение православного обряда и определяют себя как греки. Помимо базовых экономических причин, автором отмечаются предпосылки к этому в самих идеях албанского национализма, который изначально был в большой степени секуляризован. Это было связано с тем, что сами этнические албанцы исторически могут исповедовать любую из трех основных религий региона и могут быть как мусульманами-суннитами, так и православными или католиками, и идеологи формировавшейся албанской нации не могли это не учитывать. В заключение Д. Михаил говорит о том, что греческому обществу предстоит еще долгий путь поиска более современной, толерантной к меньшинствам идеологии.

В весьма оригинальном, на мой взгляд, исследовании Р. Попова «Религиозные культы разных святых как маркер национальной идентичности» анализируется связь между популярностью культа какого-либо конкретного святого и национальным самоопределением. Например, Параскева Пятница Эпиватская (св. Петка, названная так потому, что была рождена в пятницу – *петък* (с. 376)), культ которой был основан на культе более ранних римских мучениц и широко распространился по Балканскому п-ву в XI в., затем получила имя Петка Тырновская, позже она также носила имена Болгарская, Сербская и Петка из Ясс, в зависимости от того, где в данный период находились мощи. Во всех этих балканских странах, но в особенности в Болгарии, св. Петка снискала небывалую популярность как защитница семейного очага, домашних животных, помощница по хозяйству. Обряды, связанные с ее культом, обнаруживают много общего с другими «летними» святыми, в первую очередь со св. Ильей. В сербской истории особое место занимает св. Савва Сербский, по народным поверьям, старец с длинной седой бородой, отличавшийся невероятной щедростью, покровитель волков, «собак святого Саввы». В Македонии мы видим целую плеяду локальных святых. Напри-

мер, св. Наум, исцелявший безумие, бывший покровителем медведей, особо популярен в окрестностях Охрида и считается защитником как самого города, так и озера. Отчасти схожую функцию выполняет и св. Дмитрий Солунский для Салоник. Приведенными примерами, конечно же, палитра локальных балканских святых не исчерпывается, и очевидна важность данных культов в культурном наследии Балкан.

Говоря о сборнике в целом, помимо уже упоминавшихся выше актуальности и новаторстве включенных в него статей, следует отметить высокое качество редакторской работы, благодаря которой, как ка-

жется, в сборнике нет ни опечаток, ни прочих огрехов, существенных не столько для понимания материала, сколько для общего впечатления от прочитанного. Как небольшой и, в общем, несущественный недостаток я бы отметил тот прискорбный факт, что примеры из языков, не использующих латиницу, приведены только в транслитерации, а не в исходном варианте вместе с транслитерацией, а это, конечно же, было бы необходимо для сборников подобного типа, ориентированных на широкий круг ученых разных национальных традиций.

© 2010 г. А.Е. Тунин

Славяноведение, № 6

И.И. СВИРИДА. Метаморфозы в пространстве культуры. М., 2009. 463 с.

Книга представляет собой глубокое культурологическое исследование, посвященное трансформациям культуры во времени и пространстве. Основной тип происходящих в ней процессов автор определяет как *метаморфозу*, придавая ей характер всеобщей закономерности, универсальности, интерпретируя посредством этого понятия постоянно происходящие изменения смыслов, образов, форм и функций культурных явлений. При этом И.И. Свирида сознает семантическую и культурно-психологическую нагрузку лексемы *метаморфоза*, бытующей более двух тысячелетий, отмечая ее устоявшиеся биологические и литературные, начиная с Овидия, коннотации, определенную «культурологичность» этого слова. Тем не менее, именно это понятие исследовательница обоснованно считает релевантным для трактовки движения культуры не просто как «развития», ведущего к однонаправленным изменениям (по преимуществу «к лучшему», иногда «к упадку»), а для обозначения фундаментального свойства культуры – динамики, которое позволяет ей меняться самой и изменять мир. Древнее изречение «Все течет, все изменяется» под пером И.И. Свириды наполняется конкретным содержанием как в плане философского анализа культуры, так и исторического, ибо за основу взята культура эпохи Просвещения.

Книга в определенной степени синтезирует предшествующие исследования автора (особенно [1; 2]), но поднимает их на новый уровень культурологической интерпретации темы, что позволяет прийти к глубоким обобщениям.

Не занимаясь чистой теорией культуры, И.И. Свирида мастерски сочетает теоретические рассуждения с анализом конкретики. В результате возник текст, в котором для внимательного читателя все его компоненты предстают взаимосвязанными и взаимобусловленными при всем разнообразии наличествующих проблем, вопросов и тем. Проходящее ненавязчивым лейтмотивом понятие метаморфозы, по признанию автора, «не взято априорно, а выявилось из самого материала в поисках того общего, что объединяет распростершиеся во времени и пространстве явления культуры – плод креативности отдельных личностей и целых эпох» (с. 18).

Автор анализирует взаимопроникновение таких категорий, как природа и культура, проецируемых на человека как субъекта и объекта культуры в исторически меняющемся времени. Кажется, что сверхзадачей автора было исследование философских категорий пространства и времени, проявляющихся через культуру и ее носителя – человека. Здесь главным объектом становится метаморфозность как родовое качество и самой природы, и куль-

туры, что обеспечивает переход границы, их разделяющей. Сквозной темой, стержнем книги является сад как топос, связывающий природное и культурное начала, как семантическое пространство, в котором фокусируются метаморфозы.

Композиционная рама книги – от природного ландшафта к истории – объединяет в сложный, но целостный организм все ее элементы: переход от природного к сакрализованному ландшафту, к саду как земному Раю и Аркадии; ландшафт, присутствующий в культуре в метафизических функциях и конкретно-исторических формах, а также как образ и метафора в художественных текстах, влияющих на человека, который, в свою очередь, его преобразует (топос города); метаморфозы самого человека в пространстве культуры и формирование модели «естественного человека» эпохи Просвещения, которой дается историко-культурная характеристика, углубляющая и корректирующая сложившиеся представления. Понятийный аппарат, используемый автором, связует воедино терминологию отдельных гуманитарных дисциплин, что подчеркивает комплексность исследования.

Несколько конкретизирую обозначенные темы книги. Вынесенное в заглавие понятие «пространство культуры» автор отличает от более принятого понятия «культурное пространство», выделяя две составляющие, в целом образующие пространство культуры. Это концептуализированное пространство, пространство смыслов, которое «претворяется в мифопоэтическом, сакральном и художественном образе, воплощаясь в знаках и структуре текстов», а также «пространство бытия культуры», в котором формируется модель «поведения культуры», определяющая ее отношения «с социальным и природным мирами [...] образуя также постоянно активное пограничье с пространством текстов» и служа «интерактивным полем, в котором реализуется [их] прагматика» (с. 28).

Сквозной темой, наряду с пространством, является сад как топос, связывающий природное и культурное начала, как семантическое пространство, где фокусируются различного типа метаморфозы. В главах, специально посвященных саду и его мифологемам, происходит слияние различных аспектов исследования. Этот синкретичный вид искусства дал возможность представить взаимосвязь сакрального и мирского, города и сада, жизни и смерти, трансформации пространства и семантики сада от Просвещения к романтизму и бидермайе-

ру. «Это был путь истинных метаморфоз, когда преобразовывался и объект, и тип рефлексии» (с. 79), – пишет И.И. Свирида. Ментальные метаморфозы стали главным объектом внимания при анализе отношения к природе от Средневековья к Новому времени. Раскрывая этот мыслительно-познавательный процесс освоения человеком мира, приобретения им суммы знаний в ходе социально-исторической практики, автор выстраивает триаду: сакральный ландшафт – сад (или прекрасная природа, *belle nature*) – родная природа. Это сделано на русских текстах от игумена Даниила до Карамзина, однако справедливо в целом для восприятия природы в европейской культуре. Оно шло от доминирования сакрализованных форм естественного ландшафта Святой земли через идеализированную природу сада, опосредующего контакт с естественной природой, к осознанию красоты естественного ландшафта. В XIX в. он уже принимается в любых, в том числе самых скромных формах в качестве «родной природы».

Человек, постоянно присутствующий на страницах книги, в разделе III «Человек: миф, модель, образ» становится основным героем. Проследив, как его образ в искусстве постоянно балансирует между мифом и реальностью, выступая иногда в роли «нечеловека», автор сосредоточивается на эпохе Просвещения с ее дихотомией цивилизованности, галантности и естественности, изысканности и простоты, раскрывая проекцию природы на человека через культуру. В заключительном IV разделе И.И. Свирида подробно останавливается на редких в культурологических исследованиях сторонах эпохи Просвещения – ее театрализации, феминизированности и эзотеричности (масонство). Театрализация представлена как синтезирующая форма культуры Просвещения в отличие от собственно синтеза искусств, доминировавшего в культуре барокко.

Одно из важных достоинств книги состоит в том, что она написана на общеевропейском материале, но главный акцент делается на Восточной Европе. Обычно в научной литературе происходившие в славянском мире процессы рассматриваются самостоятельно, если речь не идет о культурных взаимодействиях. В данном случае для автора важна интеграция европейского культурного пространства Нового времени. В ее свете более рельефно, чем в странах Западной Европы, в славянском регионе проявились многие из рассматриваемых культурологом. Так, искусство Польши в

драматическую эпоху разделов государства постоянно обращалось к исторической проблематике, отнюдь не в ее аллегорической интерпретации. Поэтому именно на его примерах рассмотрены отношения в системе история – искусство.

Широта историко-культурного кругозора автора (от античности до авангарда), постоянное обращение к произведениям пластических искусств, поэзии сделали возможным то, что сквозь теоретические построения прорывается живое тело европейской культуры и искусства, чем в свою очередь подкрепляется основательность этих построений.

Особо надо отметить иллюстрационный ряд книги: это продуманная автором концепция, на весьма редких и тщательно подобранных примерах наглядно доказывающая как общие, так и частные положения, выдвинутые в работе.

Конечно, в столь насыщенном мыслями и материалом труде встречаются шероховатости и лакуны. В разделах, охватывающих материал нескольких эпох, иногда возникают признаки очерковости. Было бы интересно сопоставить театральность рококо с театральностью Версаля Людо-

вика XIV, проследить маньеристическо-барочные корни масонства в приложении к геометрии парков, хотелось бы видеть более развернутую характеристику малоизвестной у нас польской исторической живописи XVIII в.

В целом же книга И.И. Свириды является, по моему мнению, одним из наиболее содержательных и оригинальных культурологических исследований универсального и одновременно конкретно-исторического плана, появившихся в последнее время. Она впечатляет охватом привлеченного для анализа материала, отточенностью формулировок. Все это позволяет автору выстроить впечатляющую картину, которая демонстрирует многообразие метаморфоз, постоянно происходящих в культуре.

© 2010 г. Г.П. Мельников

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Свирида И.И.* Сады Века философов в Польше. М., 1994.
2. *Свирида И.И.* Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX века. М., 1999.

Славяноведение, № 6

Художественные центры Австро-Венгрии. 1867–1918. СПб., 2009. 544 с.

Книга продолжает проект Государственного института искусствознания (ГИИ, Москва), посвященный изучению культуры Австро-Венгрии, начатый книгой «Художественная культура Австро-Венгрии. 1867–1918. Искусство многонациональной империи» (СПб., 2005). Обе книги обозначили новый для нашей гуманитарной науки подход к исследованию Австро-Венгрии как единого государства, хотя и состоявшего из разных частей, но являвшегося не только конгломератом национальностей, но и жизнеспособной империей, в которой централизм сочетался с регионализмом. Если ранее, отталкиваясь от идеологии национальных движений и концепций национальных исторических школ (чешской, венгерской, хорватской и т.д.), наши исследователи акцентировали прежде всего развитие национальных культур народов

Австро-Венгрии, противопоставляя их политике централизма с его унификационными тенденциями, то теперь, во многом благодаря трудам видного историка Т.М. Исламова, интерес привлекает Австро-Венгрия как целостность, как государство, в котором, несмотря на сильное развитие национальных культур, существовало единое художественное пространство. Сложность, многозначность отношений между универсальным и национально-региональным началами, а также специфика культуры Вены как столицы всей огромной империи Габсбургов, не имевшей своего единого официального названия, составляют содержание двух указанных книг, ставших результатом научных конференций, организованных ГИИ. Его инновационный проект, посвященный художественной культуре Австро-Венгрии, можно только

приветствовать, поскольку он освещает многие малоизвестные страницы истории культуры и по-новому решает существенные проблемы, связанные с дихотомией национального и общегосударственного в сфере культуры.

Еще не так давно тезис о существовании единого художественного пространства Габсбургской империи, начавшегося складываться с 1526 г. [1], считался дискуссионным. Волна ностальгии по Австро-Венгрии, где межнациональные отношения и конфликты развивались в цивилизованных формах, поднялась в 1990-е годы как результат распада мировой системы социализма и поиска новой идентичности государствами, ранее входившими в Австро-Венгрию. К тому же рубеж XX–XXI вв. обозначил увлечение культурой предшествующего рубежа веков, в которой Вена занимала одно из центральных мест. Эти факторы привели к настоящему буму культуры Австро-Венгрии, к изменению исследовательской оптики с национальной, которую теперь часто называют националистически сепаратистской, на имперско-универсалистскую. При всех издержках перехода к другой крайности необходимо отметить, что благодаря изменению общих позиций на первом плане оказались явления, сфокусировавшие специфику этой культуры, но ранее рассматривавшиеся как второстепенные. Исследование культуры Австро-Венгрии как единого пространства также позволяет существенно скорректировать историю культуры каждого из народов этой державы, избавившись от рамок исключительно национального подхода. Изучение региональных художественных центров как культурных феноменов в их целостности весьма способствует этому процессу.

На указанной методологической базе стоят авторы двух рассматриваемых книг, что четко сформулировано во многих статьях первой из них. В рецензируемой второй книге (научные редакторы Н.М. Вагапова, В.Н. Егорова, Л.И. Тананаева) удалось избежать, по сравнению с первой, повторов одного и того же материала о венском Сецессионе и достигнуть большей цельности. В связи с этим встает вопрос о жанре книги. Работа в целом вышла за рамки сборника статей, однако существующая цельность еще недостаточна для того, чтобы книга стала коллективным монографическим исследованием. Будем надеяться, что создание такого труда увенчает австро-венгерский проект ГИИ.

Проблема художественных центров Австро-Венгрии, их специфики, отноше-

ний с метрополией, переплетение национальных и культурных проблем составили основное содержание данной книги. К сожалению, в ней, как и в первой книге, отсутствует вводная статья, в которой была бы очерчена проблематика исследования, определен его дискурс, сформулированы основные теоретические положения (концепции). В целом книга скорее нарративна, чем концептуальна, и это является для нее положительным моментом, поскольку позволяет ввести в поле исследования не очень известный, но необычайно интересный и ценный конкретный материал о художественной жизни крупнейших городов Австро-Венгрии. Жаль, что в их число не попали такие центры, как Брно, Люблина, Братислава (тогда называвшаяся Пожонь). Книга также поднимает очень серьезную проблему провинциальной культуры, важную и в общетеоретическом аспекте, дает прекрасный материал для всестороннего осмысления этой темы.

На многих авторов статей существенное влияние оказали новейшие зарубежные исследования, часть которых недавно появилась в русских переводах в серии «Австрийская библиотека» [2]. На современные исследования искусства Австро-Венгрии большое влияние оказывают концептуальные программные выставки и их каталоги, являющиеся настоящими научными трудами, как верно в первой книге указал на это А.А. Стригалева [3. С. 64]. Его список следует продолжить хотя бы за счет концептуальных выставок, прошедших в Праге за последнее десятилетие и существенно скорректировавших, если не полностью изменивших традиционные оценки [4].

Отметим, что редакторы не стремились унифицировать терминологию, поэтому в разных текстах мы видим термины «модерн», «сецессия» то как синонимы, то как отличающиеся по смыслу, поскольку первый термин носит более общий характер. Мне кажется, что, учитывая национальные традиции (польскую, чешскую, венгерскую, хорватскую и т.д.), следовало бы везде употреблять термин «сецессия» как обозначение не только конкретного стиля в искусстве (по отношению к русскому искусству принят термин «стиль модерн», что вносит еще большую путаницу, так как он – лишь частный случай модерна как периода (эпохи) в истории мировой цивилизации), но и как всей эпохи рубежа веков. Именно такой подход присущ чешскому искусствознанию, где термин «сецессия» в этом значении утвердился благодаря круп-

нейшему исследователю искусства этой эпохи П. Виттлиху [5].

Центральное внимание в книге уделено, естественно, столице габсбургской державы Вене. Поскольку в первой книге венский Сецессион был рассмотрен очень подробно, во второй книге акцент сделан на общей характеристике культуры Вены рубежа веков, на разных векторах ее развития. Открывает книгу статья австрийского исследователя Ф. Мунца, которая по своему названию – «Вена на рубеже веков: философская мысль и художественная культура» могла бы претендовать на роль отсутствующей вводной статьи. В тексте Ф. Мунца действительно много общих положений и характеристик, однако многое в ней вызывает вопросы и даже неприятие. Так, говоря об общей психологической атмосфере монархии с преобладанием растерянности, неуверенности, смятенности, автор прямо объясняет такие настроения чисто социальными и даже экономическими причинами (расслоение общества, пролетаризация масс, перераспределение ресурсов между разными секторами народного хозяйства и др.) (с. 9), что очень напоминает методологию вульгарного марксизма, хорошо знакомого нам по советской науке. Автор верно обозначил дихотомию эпохи как «подъем творческих сил» и одновременно «кризис самосознания» (с. 9), но не смог объяснить этого противоречия, того, как осознаваемый творцами культуры кризис может обернуться ее бурным подъемом и расцветом. Ф. Мунц слишком строго запрограммировал свое исследование, поставив его главной задачей доказательство тезиса о том, что «венский модерн уже содержал в себе ростки сегодняшнего пост-модерна» (с. 8), который так и остался в его статье недоказанным, в последнюю очередь потому, что автор переключается на другие темы – восприятие творцом культуры окружающего мира, под которым понимается почему-то только социально-политическая ситуация в монархии Габсбургов, и формирование авторского самосознания. Ф. Мунц приводит очень интересный материал, но довольно часто он как бы прячется за цитаты, которые гораздо интереснее его собственного текста.

А.А. Стригалева убедительно прослеживает преемственность между историзмом и сецессией в венской архитектуре. Эта же идея – преемственность при инновационности как главная черта австрийской культуры доказывается И.Н. Прокловым на материале литературы. Венский модерн в русской оптике стал содержанием статьи

В.С. Турчина, продолжающей его исследование этой темы. Статья А.А. Гугнина об австрийском экспрессионизме в литературе перекликается по материалу со статьей И.Н. Проклова. А.А. Гугнин подчеркивает плавное перетекание венского модерна в экспрессионизм, который рассматривается им очень широко как по охвату имен и феноменов, так и географически – в границах всей империи. Особо им выделяется пражский «остров» предэкспрессионизма, представители которого создали «мистифицированный образ Праги» (с. 80), отсутствующий в собственно чешской литературе. Один из тезисов статьи А.А. Гугнина отвечает на вопрос, имеющий принципиальную важность для всей темы, но оставленный без ответа Ф. Мунцем. Автор, ныне работающий в Полоцке, правильно считает, что «ощущение трагического надлома, упадка, кризиса традиционного гуманизма в Австро-Венгрии ощущалось особенно остро, и эта напряженность обусловила необычайный подъем австрийской культуры» (с. 84).

Интересные материалы и суждения имеются в статьях А.И. Шуцкой, Е.Л. Ивановой (малопонятное название ее статьи – «Апостолы красоты», посвященной художественной критике Р.М. Рильке, следовало бы уточнить), В.Г. Ключева. Блок музыкальных статей (авторы К.В. Зенкин, И.А. Барсова, Н.О. Власова, В.А. Ерохин) сосредоточен на идее преемственности «новой венской школы» от модерна (сецессии), главной фигурой которого был Г. Малер. Более широкое значение для темы всей книги имеют тезисы К.В. Зенкина о проблеме топологии культуры и о городе как образе (с. 149).

В венгерском блоке обращает на себя внимание статья Ю. Сабо о Будапеште как культурном центре, подводящая определенный итог многочисленным исследованиям. Очень интересный материал содержится в статьях А. Фабри (о «литературе приличий» и салоне сестер Воль) и Э. Шиллер (о художественном критике Г. Ленделе). Особо надо отметить статью И.Е. Светлова, которая гораздо шире своего названия («Будапешт как художественный центр на рубеже XIX–XX веков»). В ней содержатся общие положения, которые могли бы составить введение ко всей книге. К ним следует отнести феномен смещения в регионе отставания от Западной Европы и опережающих ее открытий и инноваций в художественном творчестве, призыв перейти к «крупной искусствоведческой оптике», отрешившись от «чрезмерной сосредоточенности на национальных проблемах»

(с. 204). Что касается художественной жизни Будапешта, то статья И.Е. Светлова дополняет и в чем-то корректирует статью Ю. Сабо.

Статья Н.М. Вагаповой, казалось бы локальная по тематике («Венские сюжеты в хорватской драматургии и прозе. 1880–1910-е годы»), ставит, тем не менее, очень важные вопросы о соотношении столичного и местного, большой значимости провинциального материала о крестьянской жизни, распространении во всей империи единых направлений (в данном случае «Provinzkunst» в драматургии), приобретающих локальный колорит. На примере связей Й. Косора с Веной и С. Пшибышевским прослеживается взаимоотношение категорий национального и всеобщего. К хорватскому материалу хочется добавить чешско-моравский, лишь подчеркивающий правоту автора статьи (я имею в виду пьесы Г. Прайсовой). Также чешским материалом можно дополнить сведения о судьбе пьесы А. Шницлера «Хоровод». Ее переработал не только М. Крлежа в 1914 г., но и П. Когоут в 2003 г. («Болеро по Артуру Шницлеру»), не знавший о пьесе М. Крлежи [6. С. 646–647].

Чехо-словацкий блок гораздо беднее венгерского и польского. В статье Е.К. Виноградовой «Прага на рубеже веков» дается верный анализ ее художественной жизни, однако многие проблемы и феномены даны слишком обзорно, некоторые важные явления не упоминаются, в частности кубизм и авангардные течения, начавшие формироваться около 1908 г. В статье рассматривается только архитектура и изобразительное искусство, а не вся культура Праги, что следовало бы оговорить в подзаголовке. Из произведений архитектуры этого периода не упомянуты такие важные, как Люцерна, Выставочный павильон, вилла скульптора Ф. Билека в Праге. Говоря о внимании чехов к декоративно-прикладному искусству, можно было отметить, что это не только чешская, но и общеимперская тенденция, импульс которой и некоторые формы исходили из Вены, что продемонстрировала выставка «Венская сессия и модерн. 1900–1925. Прикладное искусство и фотография в Чешских землях», прошедшая в Брно и Праге в 2005 г. Очень спорно утверждение автора о принадлежности творчества А. Мухи и Ф. Купки не только к чешскому, но и к французскому искусству (с. 307). Здесь встает более общая дилемма об идентичности таких художников. Кто они? Чехи (венгры, поляки и т.д.), творящие во Франции, или французские художники

иностранный происхождения? Опираясь на их собственные высказывания (сюда же следует добавить композитора Б. Мартину), вопрос однозначно решается в пользу первого тезиса. Интересные наблюдения над эволюцией творчества словацкого архитектора Д. Юрковича, работавшего главным образом в Чехии, приводит Д. Кшицова. Непонятно лишь, как мог существовать «барочный культ», т.е. христианский, древнеславянского бога Радегаста (с. 355).

Статья В.Н. Егоровой (ответственного редактора книги, хотя это не отмечено в выходных данных) о музыкальной жизни Праги являет собой образец великолепно сделанного обзора, включая анализ главных проблем. Автор отмечает влияние на культуру духа предпринимательства как социокультурной новации (с. 324), объективно оценивает такую спорную фигуру, как З. Неедлий, уделяет важное место «немецкому пласти» в музыкальной жизни Праги. Отмечу лишь небольшие неточности: наследственным владением Габсбургов Чешское королевство стало не в 1547 г., а в 1627 г., многие театры сейчас называются иначе, чем указано в тексте (с. 352).

Наиболее репрезентативен польский блок книги. В статье М. Попшенцкой «Краков – Вена» содержатся общие положения, отчасти компенсирующие отсутствие вводной статьи, о роли местных центров, «полифоничном» характере их связей с Веной, «национальной эмансипации», о влиянии распада политической системы империи на поиск новых форм художественного выражения, обусловивший переход к инновационности. Акцентируется особая роль еврейской интеллигенции как элемента, объединяющего всю Центральную и Восточную Европу. Н.З. Башинджагян исследует культурную ситуацию в Галиции, определяя ее как конфликтную, подчеркивает значимость Кракова как культурной столицы всего польского народа, в которой на рубеже веков течение «Молодая Польша» не только резко полемизировало со старой традицией, но и многое из нее черпало, что обусловило преемственность в развитии культуры. Художественную ориентацию «Молодой Польши» на Париж исследует Л.И. Тананаева, подчеркивающая, что инновационность формы у художников сочеталась с патриотичностью содержания, коренящейся в романтизме, как мироощущении, наиболее адекватном польской ментальности (с. 414). Отметим ошибку, вкравшуюся в текст: Стриндберга звали не Арнольд (с. 407), а Август.

Статья Л.Н. Уразовой о художественной жизни Кракова интересна цитатами из записей ее бесед со скульптором К. Дуниковским, но в целом она ближе к эссеистике и журналистике, чем к научному исследованию. Поэтому она уступает статье Н. Мироновой на ту же тему, опубликованной ранее в другом сборнике ГИИ [7]. Новый для нас материал содержит статья М. Мышлинского о художественном ремесле Кракова, показывающем общность развития искусства во всей Австро-Венгрии. В статьях, посвященных искусству Кракова, почему-то отсутствует такая значимая фигура его художественной жизни, как Я. Мальчевский. Малоизвестные эпизоды из творческой жизни К. Шимановского освещает И.И. Никольская.

Польский блок, посвященный Кракову – «духовной столице» Галиции, закономерно перетекает в раздел о другой ее части – современной Западной Украине, где находилась административная столица провинции – Львов. Отдельные аспекты его культуры освещаются в статьях Ю.А. Бирюлева, И.В. Семочкина, А.Е. Банцеговой. Акцент делается на эстетической ценности львовского модерна (сецессии) и его связях с венскими интэнциями. Важно, что в рецензируемой книге культура Галиции рассматривается как целостное явление, чем восстанавливается историческая справедливость. Однако следовало бы четче сказать о польской идентичности большинства львовских архитекторов и скульпторов.

Наверное, наиболее крупным общим замечанием к рецензируемой книге будет диспропорция в репрезентации основных художественных центров. Доминируют венский (что естественно), венгерский и галицийский (польско-украинский) блоки, тогда как чешский и югославянский материал представлен недостаточно. Очевидно, такая ситуация объясняется наличием или отсутствием отечественных специалистов и трудностями в привлечении иностранных. Из мелких замечаний укажу следующие. Названия некоторых статей мало что

говорят читателю, они нуждаются в разъясняющих подзаголовках. Есть повторы одних и тех же фактов в статьях разных авторов. Есть ошибки в переводах на русский язык венгерских, финских, австрийских фамилий. Все эти недочеты можно было бы устранить при более тщательном редактировании.

В целом же книга углубляет и расширяет наше понимание культуры Австро-Венгрии, превращает ее в очень важный сложносоставной феномен европейской культуры и, что самое главное, позволяет, отрешившись от узконациональной точки зрения, рассматривать ее с исторически адекватных позиций.

© 2010 г. Г.П. Мельников

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельников Г.П. Единое художественное пространство Габсбургской империи // Механизмы власти. Трансформации политической культуры в России и Австро-Венгрии на рубеже XIX–XX вв. М., 2009.
2. Шорске К.Э. Вена на рубеже веков. Политика и культура. СПб., 2001; Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб., 2001; Брод М. Пражский круг. СПб., 2007; Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис идентичности. СПб., 2009.
3. Стригалева А.А. О «венском стиле» // Художественная культура Австро-Венгрии. 1867–1918. Искусство многонациональной империи. СПб., 2005.
4. Důvěrný proctor / nová dálka. Umění pražské secese. Praha, 1997; V barvách chorobných. Idea decadence a umění v českých zemích 1880–1914. Praha, 2006; Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie v českých zemích. Brno, 2005; Křičtě ústa. Předpoklady expressionismu. Praha, 2006; Secese v Chorvatsku. Praha, 2006.
5. Wittlich P. Umění a život. Doba secese. Praha, 1986.
6. Когоут П. Такая любовь. Пьесы. СПб., 2007.
7. Миронова Н. Краков – столица художественной жизни Польши рубежа веков // Современное польское искусство и литература. От символизма к авангарду. М., 1998.

Польское искусство и литература. От символизма к авангарду.
СПб., 2008. 352 с.

В коллективном труде ученых Государственного российского Института искусствознания и других российских и польских научных центров предпринята попытка дать нашему читателю представление об одной из наиболее значительных эпох в польском искусстве – так называемой Молодой Польши (конец XIX – начало XX в.), эпохе расцвета польского символизма, а также о 20-х годах XX в. – периоде интенсивных авангардистских поисков в искусстве и литературе. Но центр тяжести в книге закономерно смещен в сторону «Молодой Польши», годам, когда, по замечанию одного из польских исследователей, Польша выстрелила над Краковом блестящим фейерверком, огни которого долго освещали польский путь в искусстве.

Сборник составлен тщательно и продуманно. К такого рода книгам поневоле предъявляются повышенные требования. Приведу сразу одно из них. Жаль, что сборнику не предпослано хотя бы краткое Введение или вступительная статья, где был бы намечен план сборника, хронология, объяснено понятие «Молодой Польши», а затем и авангарда. Наверное, стоило бы сказать, что отличительной чертой искусства и литературы «Молодой Польши» в целом является переплетенность линий, сосуществование различных стилевых и идейно-художественных тенденций. В литературе, например, продолжает полноценно развиваться реалистическое направление, представленное уже известными писателями – Б. Прусом (1847–1912), Э. Ожешко (1841–1910), М. Конопницкой (1842–1910), Г. Сенкевичем (1846–1916) и молодыми С. Жеромским (1864–1925), В. Реймонтом (1867–1925), В. Орканом (1875–1930) и др.

Вместе с тем одновременно именно в 1890-е годы возникают такие нереалистические течения, как импрессионизм, символизм, экспрессионизм и неоклассицизм – идейно неоднородные, вступающие в сложные взаимосвязи и между собой, и с реализмом. Пестрота и даже взаимозаменяемость терминов, используемых для обозначения писателями своих художественных поисков и нередко заимствованных из изобразительного искусства, где происходили сходные процессы, указывает на

сложность, которую испытывали творцы рубежа веков для самоопределения своего творчества.

Немалое влияние на формирование эстетических позиций художников оказали популярные в то время в Европе философские концепции. Польским авторам оказалась близка идея А. Шопенгауэра об иррациональной «воле к жизни». Она придавала смысл переживанию вечной неудовлетворенности и подсказывала выход из тупика в отношении к искусству как результату «незаинтересованного созерцания» гения. Получили распространение и взгляды Ф. Ницше на жизнь как «естественный поток», культ сильной личности, «сверхчеловека», противостоящего толпе филистеров и имеющего право преступать привычные моральные нормы, быть «вне добра и зла». Оказалась воспринята и элитарная концепция культуры А. Бергсона, согласно которой лежащая в основе искусства иррациональная интуиция присуща лишь избранным творцам. Все это стимулировало и поддерживало усиление в творчестве субъективного начала, стремление к воссозданию определенных настроений, тяготение к фантастике и символизму. Эти черты особенно ярко проявились в польском искусстве и литературе в 1890-е годы – время так называемого модернистского бунта, приведшего к созданию идейно-художественного течения «Молодая Польша», которое польскими исследователями распространяется на весь период 1890–1918 гг. в целом, охватывая и реалистическое творчество.

Наиболее полно новые тенденции проявились в литературе, но перенесли охватили и другие виды искусства – живопись, скульптуру, музыку, театр. Композиторы К. Шимановский, Л. Ружицкий, Г. Фительберг и другие образовали группу под тем же названием – «Молодая Польша». Экспрессивные метафорические скульптуры были созданы выдающимся скульптором К. Дуниковским. Импрессионистская манера преобладает в творчестве живописцев Ю. Мальчевского, Ю. Фалата, Л. Вычулковского, декоративно-символические мотивы – у С. Выспянского, Ю. Мехоффера.

Творцов «Молодой Польши» в целом объединяло чувство дисгармонии жизни,

утверждение творческой свободы и независимости художника, связанное с поисками новых средств художественного выражения. Авторы «Молодой Польши» программно обращались к традициям польского романтизма (поэтому иногда весь период в целом называют «неоромантизмом»), к сожалению, никто из авторов не указал монографии Ю. Кжижановского «Польский неоромантизм»), своеобразно их интерпретируя, увязывая с ними новые веяния и потребности. Творчество Ю. Словацкого, Ц. Норвида, А. Мицкевича, с одной стороны, было для них примером протеста против национального и социального угнетения, а с другой – инспирировало их интерес к внутреннему миру одинокой личности, находящейся в разладе с обществом.

Эстетическая программа «Молодой Польши» была неоднородной. С одной стороны, она отражала декадентские и элитарные настроения части творческой интеллигенции, с другой – индивидуалистический бунт против мещанского общества и его культуры. Для художественной практики крупных художников и писателей, причислявших себя к «Молодой Польше», характерны были попытки соединить философско-метафизическую проблематику, новый импрессионистский и символистский «младопольский» стиль с принципами социально заостренного и гуманистического искусства.

Большинство этих необходимых сведений в сборнике есть, но они разбросаны по отдельным статьям, и неподготовленному читателю трудно объединить их в единое целое.

Роль вступления отчасти выполняет открывающая сборник статья (известная, впрочем, и ранее) Натальи Мироновой «Краков – столица художественной жизни Польши рубежа веков». Но в ней отсутствуют многие важные характеристики периода и художественных группировок. К тому же автор дает слишком жесткие, отчасти ошибочные формулировки. Это относится, прежде всего, к характеристике польского позитивизма и его авторов, многие из которых продолжали свою деятельность и в период «Молодой Польши». Конечно, позитивисты вовсе не отказывались от борьбы за независимость, как считает Н. Миронова, которая пишет: «По существу, позитивизм призывал к соглашательской позиции по отношению к властям трех держав, между которыми была разделена Польша» (с. 9). Недоверие позитивистов к идеологии немедленного революционного преобразования действительности нельзя отождествлять с соглашательством с оку-

пационными властями. «Эволюционистская» позиция позитивистов предусматривала сохранение и развитие «польскости» в условиях вынужденного отсутствия польского государства. Лидер варшавских позитивистов, философ, писатель и публицист Александр Свентоховский (1849–1938) призывал развивать «внутреннюю силу» нации «работой, просвещением, культурой, напряженным усилием воли, труда, гения», призывал создавать «богатое и мудрое общество, могущественное внутренней силой», что позволит в изменившихся условиях «освободиться от тройного гнета» (цит. по [1. С. 131]).

Тем не менее авторам книги в совокупности удалось показать, что польское искусство и литература рубежа XIX и XX вв. по общенациональной значимости произведений, созданных в этот период, могут быть сопоставимы с великой эпохой польского романтизма. В польском искусстве и литературе рубежа XIX–XX вв. сформировались и проявились все главные тенденции, наблюдаемые в европейской культуре, причем, как правило, они не являлись заимствованными, вторичными, а были органичны и во времени параллельны аналогичным тенденциям в западноевропейской и русской культурах.

Этот период был хронологически последним этапом развития польского искусства и литературы эпохи разделов Польши, которые, с одной стороны, продолжали разработку национально-освободительной проблематики, характерной для предшествующих эпох, с другой – этот же период стал и первым крупным звеном искусства и литературы, считающих себя независимыми, искусства общества, идущего к собственной государственности. Это определяло в течение всего периода характер столкновений между новым и традиционным (обусловленным разделами Польши) пониманием задач литературы и искусства.

Парадокс рассматриваемого периода в том, что при всем эстетизме пропагандируемых теорий искусства, провозглашении крайнего индивидуализма и оторванности от жизни, элитарности и абсолютной свободы искусства на практике и литература, и другие виды искусства завоевывали широкие круги, становились общественным явлением – не только С. Выспяньский, Ю. Мальчевский или К. Тетмайер, но и С. Пшибышевский, и Т. Мичиньский, и другие авторы «Молодой Польши». Корни их творчества все равно уходили вглубь национально-патриотического содержания всей польской культуры, а их талант, их блестящее художественное мастерство,

эстетическое новаторство завоевывало все новые и новые слои публики.

Авторы сборника прекрасно показали процесс радикальных изменений в польском искусстве и литературе рубежа веков, тесную связь между программными выступлениями писателей и художников, огромное влияние писателей на формирование художественных взглядов эпохи, выдающиеся достижения польской живописи и скульптуры, представленные такими именами, как Выспяньский, Мехоффер, Мальчевский, Дуниковский и др., и связь этих достижений с национальными культурными традициями, романтической и народно-фольклорной.

Широкий европейский контекст присутствует в интереснейшей статье Ирины Никольской о творчестве М. Карловича и К. Шимановского. Для подкрепления тезиса о связи литературы с другими видами искусства, в данном случае с музыкой, стоило, возможно, упомянуть, что автором либретто к одной из лучших польских опер «Король Рогер» Шимановского был Я. Ивашкевич. Он же – автор признанных музыковедами исследований творчества Шимановского.

Авторы статей о польских художниках убеждают читателя, что лучшее, что создано в области искусства в Польше в этот период – это живопись, яркое проявление европейского искусства с национальным польским колоритом. Не имея возможности остановиться на каждой из статей сборника, отмечу исследование Ларисы Тананаевой о творчестве Выспяньского и Мехоффера. В статье «О Станиславе Выспяньском» (ее лучше было бы назвать «О Выспяньском-художнике») привлекает, например, тонкий анализ витражей Выспяньского и «хохолов» художника (с. 76). В содержательной статье о Мехоффере впечатляет глубокий разбор картины художника «Дивный сад».

К этой же картине обращается и Игорь Светлов в статье «Природа в живописи польского символизма». Он как бы дополняет анализ Тананаевой, привлекая историю интерпретации польскими искусствоведами многозначной символики картины. Прежде всего существа, именуемого Тананаевой «стрекозой», а Светловым поначалу «летучей мышью», а затем – со знаком вопроса – и стрекозой, и бабочкой.

Отмечу еще статью Андрея Базилевского, прекрасного знатока польской гротескной литературы. А. Базилевский верно замечает, что первое – довоенное – двадцатилетие польского модернизма дало поток гротескных произведений, который с тех пор не иссякает, и дает сжатые и точные

характеристики проявлений гротеска в литературе периода «Молодой Польши». При этом стоило бы сказать, что экспансия гротеска в творчестве многих писателей не нашла отражения в тогдашнем эстетическом сознании, а множественные гротескные языки обслуживали не гротескную проблематику польского модернизма.

Базилевский доказывает важный тезис о том, что гротеск играл огромную роль в польской литературе, в которой сильна была романтическая традиция символизации реальности, а в XX в. для польской литературы гротеск вообще наиболее органичен. Это положение убедительно обосновывается им на многих примерах, хотя иногда увлеченность автора гротеском приводит к тому, что любое отклонение того или иного писателя от миметизма причисляется к гротеску. Но можно ли считать любую деформацию гротеском?

Вполне уместно в сборнике обогащающее его «Приложение» – перепечатка статей польских авторов о художественных тенденциях эпохи перехода от символизма к авангарду.

К сожалению, в сборнике отсутствует важный для такого рода изданий именной указатель. Из мелких недочетов укажу на отсутствие унификации в написании названий польских журналов у разных авторов («Жице» – «Жиче», «Вядомости Литерацке» – «Вядомosci Литерацке» и др.). В библиографии о «Молодой Польше» (стр. 37) можно было бы указать работы: *Głowiński M. Powieść młodopolska. Wrocław etc. 1969; Krzyżanowski J. Neoromantyzm polski. Wrocław etc. 1971; Makowiecki A. Młoda Polska. Warszawa, 1987; Podraza-Kwiatkowska M. Literatura Młodej Polski. Warszawa, 1992; Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski / Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wrocław etc. 1977; Wjka K. Młoda Polska. Kraków, 1977. Т. 1–2.* Библиографию о Выспяньском можно дополнить книгой: *Wyspiański. Siedlce, 2001* (Материалы научной сессии объемом в 534 стр.).

В целом же можно только порадоваться очередному прибавлению в библиотеке русской полонистики отличной книги, приближающей польскую культуру русскому читателю, и поздравить с успехом ее создателей.

© 2010 г. В.А. Хорев

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Tomkowski J. Don Juan we mgle. Warszawa, 2005.*

Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе. Мінск, 2001. 797 с.; Т. 2. Віцебскае Падзвінне. Мінск, 2004. 910 с.; Т. 3 (в 2-х книгах). Гродзенскае Панямонне. Мінск, 2006. 608 с. и 736 с.; Т. 4 (в 2-х книгах) Брэсцкае Полессе. Мінск, 2008, 2009. 559 с. и 863 с.

Традиционная художественная культура белорусов. Т. 1. Могилевское Поднепровье; Т. 2. Витебское Подвинье; Т. 3. Гродненское Понеманье; Т. 4. Брестское Полесье

Одним из важнейших постулатов изучения традиционной народной культуры является положение о том, что любая этническая культура по природе своей диалектна, т.е. в реальном территориальном и временном пространстве представлена рядом «локальных» вариантов или «культурных диалектов», подобно тому, как любой живой язык на практике реализуется не только через свою литературную «версию», но и посредством местных диалектов.

В связи с этим для изучения народной духовной и материальной культуры в региональном и ареалогическом аспектах безусловно ценны издания, комплексно освещающие традиции тех или иных историко-культурных регионов, в совокупности описывающие этнокультурные данные определенных локальных традиций. Для славянского мира подобный подход в изучении народных обрядов, календаря, верований и т.п. крайне актуален, поскольку в различных этнокультурных традициях Славии до нашего времени хорошо сохранились элементы, свидетельствующие о бытовании самобытных архаических фольклорно-мифологических представлений, о наличии в ментальности носителей традиции преемственности между «славянскими древностями» и развивающимися на их основе инновационными тенденциями.

В настоящее время исследователям народной культуры славян доступна серия изданий, посвященных описанию локальных традиций различных регионов Болгарии (начиная с 1980-х годов вышли в свет тома, представляющие такие области Болгарии, как Родопы, Ловечский край, Сакар, Софийский край, Странджа, Пиринский край и др.) [1]. Благодаря таким изданиям можно увидеть общее и особенное в нацио-

нальной духовной культуре, уникальность одних ее черт и универсальность других.

В отечественной этнографии и фольклористике наиболее «успешным» является направление, связанное с публикацией материалов по Русскому Северу, – в последнее десятилетие вышло в свет несколько фундаментальных изданий, представляющих разные сферы традиционной культуры региона и разные жанры фольклора [2]. Хочется надеяться, что и другие регионы России с их богатейшими свидетельствами традиционной старины также станут предметом комплексного изучения: в 2009 г. вышел в свет капитальный труд «Русские Рязанского края», подготовленный на основе архивных материалов и современных полевых данных [3].

В начале нашего столетия настоящим подарком исследователям восточнославянских культурных ценностей стала серия «Традиционная художественная культура белорусов», работа над которой осуществляется Белорусским государственным институтом проблем культуры при поддержке Министерств культуры и информации Республики Беларусь, а также областных управлений по культуре. Работа над серией началась в 1994 г. (автор идеи и научный редактор серии – Т.Б. Варфоломеева); серия была задумана как показ современного состояния традиционной культуры по всем историко-этнографическим регионам Белоруссии – это Поозерье, Восточное и Западное Полесье, Понеманье, Поднепровье и Центральная Белоруссия (соответственно, издание мыслится как шеститомное). Серия региональных антологий стала отражением результатов многолетней работы лаборатории традиционного искусства Белорусского государственного института проблем культуры, коллектива авторов-

энтузиастов, посвятивших немало усилий экспедиционным изысканиям, классификации и научному комментированию фольклорно-этнографических данных и подготовке материалов к публикации. Главная задача представляемой серии – дать объемную картину регионального богатства и самобытности основных видов традиционной культуры в ее аутентичных формах, показать народную культуру белорусов как живую традицию (краткий обзор первых томов серии см. [4]).

На сегодняшний день в свет вышли четыре тома серии, посвященные Могилевскому Поднепровью, Витебскому Подвинью, Гродненскому Понеманью и Брестскому Полесью.

Отличительной особенностью серии, отражающей основной методологический подход к комплексному описанию неоднородного культурного ландшафта Белоруссии и ее фольклорных традиций, является стандартизованная структура всех томов, что наглядно демонстрирует единую методику анализа традиций разных регионов.

Каждый том открывается историко-этнографическим очерком, дающим основные сведения по данному региону, характеризующим особенности его историко-культурного развития, специфику местной устно-поэтической традиции. Далее следуют разделы «Календарные обычаи и обряды», «Семейные обычаи и обряды», «Необрядовые песни», «Инструментальная музыка», «Танцевальный фольклор», «Народные игры», «Народная проза», «Народный костюм», «Традиционный народный текстиль». Есть также разделы, отражающие специфику местной традиции: так, в том, посвященный Витебщине, включен раздел о гончарстве. Все книги богато иллюстрированы, а «музыкально-хореографические» очерки снабжены большим количеством нотных примеров и танцевальных фигур.

Особенностью серии является также то, что она полностью построена на материалах, собранных во время полевых экспедиций по разным районам Белоруссии начиная с 1990-х годов – например, при подготовке тома, посвященного Гродненщине, привлекались материалы 15 экспедиций 1999–2002 гг., во время которых было обследовано 224 населенных пункта и опрошено свыше 750 информантов; в книгах, посвященных Полесью, нашли отражение материалы 19 экспедиций 2000–2002 гг. (обследован 231 населенный пункт, зафиксировано около 3000 свидетельств, касающихся материальной и духовной культуры региона). При разработке проекта на каж-

дую область изначально планировалось по три года экспедиций. На самом деле авторы-составители разделов, стремясь не упустить ни одного фрагмента изменяющейся и, к сожалению, в ряде случаев угасающей традиции, продолжают экспедиционный сбор материалов практически до момента сдачи книги в издательство. Таким образом, в распоряжении исследователей теперь находятся издания, представляющие современный срез культурной традиции, содержащие материал, впервые вводимый в научный оборот, и дающие богатую базу для сравнения с данными, зафиксированными в ставших классическими сводах Н. Никифоровского, А. Сержпутовского, Ч. Петкевича, М. Федеровского, П. Шейна.

Сравнивая тома серии, нельзя не отметить постоянное стремление авторского коллектива к совершенствованию подачи материала, его классификации и типологизации. Так, отражая конфессиональную особенность Гродненского Понеманья (сосуществование в тесном соседстве православной и католической традиций) при описании народного календаря последовательно отмечены различия в верованиях и обрядах православных и католиков; в разделе «Народная проза» в комментариях к опубликованным легендам обязательно указывается конфессиональная принадлежность информанта, что в дальнейшем может служить подспорьем в определении степени укорененности того или иного сюжета в контексте «народной Библии» на территории поликонфессиональных регионов.

Впервые появился в этом же томе раздел «Устный народный дискурс», отразивший взгляд народа на мироустройство, представления об истории, конфессиональные взаимоотношения православных и католиков, отношение к христианской вере и вере других народов, народно-этические установки. Публикация такого рода текстов – хороший вклад в изучение этноконфессиональных стереотипов, на которых в значительной степени строится любая традиционная культура.

Значительно усовершенствован справочный аппарат к публикуемым текстам (это касается не только народной прозы, но и образцов песенно-музыкального фольклора). В примечаниях отмечены все зафиксированные на территории области варианты публикуемого текста, с подробным паспортом. При нумерации вариантов одного сюжета используются буквенные индексы, что облегчает поиск определенного сюжета и его версий. Столь подроб-

ный комментарий можно только приветствовать, поскольку он закладывает основу для возможных будущих исследований по картографированию фольклорных сюжетов и мотивов белорусской традиции.

«Полесский» том представляет культурную специфику региона во всем ее разнообразии. Многие особенности народной традиции Брестщины сформированы ее положением на «перекрестке культур», в результате взаимодействия восточнопольской (подляшской), украинской (волынско-полесской) и собственно западнобелорусской традиций, что дает исследователям богатые возможности для изучения культурных универсалий и локальных раритетов. Поэтому при описании традиционной обрядности чрезвычайно ценными в презентации полесского материала являются указания на близкие и дальние параллели приводимых фольклорных и этнографических фактов. Фиксация локальных версий общеславянских обрядов делает возможным также наглядно представить неоднородность культурного ландшафта Брестщины. Так, особенностью южных районов области являются одновременно проводимые обряды проводов зимы и закликания весны в последний день масленицы. Только в северных районах известен волочечный обряд (обходы домов в пасхальное воскресенье). Обряд «вождение куста» на Троицу исполнялся в районах, граничащих с севера с волинским Полесьем, где он также известен. Особая отмеченность в народном календаре праздника Чуда (*Цуды*) характерна только для брестско-малоритско-кобринского ареала и также имеет параллель в западнополесской украинской традиции.

Структура тома и принципы подачи материала остаются в рамках разработанной для серии концепции. Отрадно видеть, что текст буквально насыщен свидетельствами «из уст народа» – например, в разделе, посвященном народному календарю, факты излагаются не в пересказе собиратель, а путем подборки цитат из интервью с носителями традиции. В то же время к некоторым фрагментам явно требуются комментарии (учитывая объем обеих книг, хотя бы лаконичные, на уровне примечаний!). В частности, такие комментарии необходимы, когда в общем контексте представлены уникальные факты локальной традиции. Например, среди святочных молодежных забав в Пружанском р-не отмечена игра «Жалівон», имитирующая выбор невесты и сопровождающаяся песней «Едэ, едэ Жалівон, / Едэ, едэ его брат, / Едэ, едэ Жалівонова дружина». Это мест-

ная версия игры «Зельман» («Жельман», «Дзельман»), но интерес и ценность данного свидетельства состоит в том, что эта игра на славянских территориях до сих пор фиксировалась на территории Подлясья, Люблящины, в Мазовии и в западных областях Украины (Покутье, Волинь, Галиция) – т.е. на польско-украинском пограничье (см. обзор версий в [5]). Второй интригующий момент – во всех известных записях «Зельмана» указывается на четкую приуроченность этой игры: масленица и весенний цикл обрядов, включающий исполнение песенок-«гаивок» (веснянок). Таким образом, брестский «Жалівон» являет собой не только единственную на сегодняшний день фиксацию обряда и текста на территории Белоруссии, но и пример «календарного сдвига», которому подвергся обряд.

В томе, посвященном Брестщине, в разделе «Народная проза» появился новый подраздел – «Народная Библия», в котором опубликованы записи фольклорных легенд на ветхо- и новозаветные сюжеты. Введение в научный оборот новых материалов, отражающих «библейский фольклор», крайне актуально по двум причинам. Во-первых, на территории Брестского Полесья в живой традиции сохранились многие сюжеты, утраченные или не известные в других областях Полесья (например, сюжет о том, почему дети не ходят сразу после рождения). Во-вторых, в повествовательной традиции Брестщины представлены уникальные варианты общеславянских сюжетов – например, сюжет о «собачьем и кошачьем хлебе» (отчего раньше колос рос от самой земли, а потом измельчал) связывается с рассказом о библейском Исходе. При возрастающем интересе к изучению локальных фольклорных традиций, при развитии исследований, связанных и классификацией и картографированием фольклорных фактов, публикация новых региональных вариантов очень важна.

Присутствует в «Брестском Полесье» и новый раздел – «Малые жанры фольклора», объединивший заговоры, пословицы, поговорки, загадки, проклятия, благопожелания и др. Тексты такого рода, несмотря на формальную краткость, являются важным этнолингвистическим источником для реконструкции народной духовной культуры, так как зачастую несут в себе в «свернутом» виде информацию об архаических обрядах и верованиях.

Готовятся к изданию следующие выпуски серии: по словам участников проекта, материала столько, что тома по Гомельской

и Минской областям можно издавать и в трех, и в четырех книгах.

Экспедиционный материал фиксируется на высококачественные электронные носители, что делает возможным создание приложений в виде компакт-дисков. Впервые в серии электронное приложение дано к полесскому тому. Два компакт-диска включают записи обрядовых, календарных, семейно-бытовых песен, танцев и наигрышей, образцов народной прозы (сказок, легенд, быличек, бытовых рассказов) в аутентичном исполнении. Аудиозаписи устных рассказов сопровождаются расшифровками текстов. Базой для электронного приложения стали материалы, записанные на Брестщине в 1983–2008 гг.

Региональная серия, задуманная и успешно осуществляемая белорусскими коллегами, уже стала источником ценного аутентичного материала для фольклористов, этнографов, этномузыкологов, этнолингвистов. Она дает представление о важнейших проявлениях народной художественной культуры белорусов, воплощенных в традициях разных регионов страны.

© 2010 г. О.В. Белова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1980; Капанци. Бит и култура на старото българско население на Североизточна България. Етнографски и езикови проучвания. София, 1985; Пловдив-

ски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986; Софийски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1993; Родопи. Традиционна народна духовна и соционормативна култура. София, 1994; Странджа. Материална и духовна култура. София, 1996; Ловешки край. Материална и духовна култура. София, 1999; Сакар. Етнографска, фолклорно и езиково изследване. София, 2002.

2. Морозов И.А., Слепцова И.С., Островский Е.Б., Смольников С.Н., Минюхина Е.А. Духовная культура Северного Белозерья. Этнодиалектный словарь. М., 1997; Народная культура Русского Севера. Живая традиция. М., 1999–, вып. 1– (продолжающееся издание); Русский Север. Этническая история и народная культура XII–XX веков / Отв. ред. И.В. Власова. М., 2004; Дмитриева С.И. Традиционное искусство русских Европейского Севера. Этнографический альбом. М., 2006; Каргополье. Фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и приговоры) / Сост. М.Д. Алексеевский, В.А. Комарова, Е.А. Литвин, А.Б. Мороз, Н.В. Петров; под общей редакцией А.Б. Мороза. М., 2009.

3. Русские Рязанского края / Отв. ред. С.А. Инникова. М., 2009. Т. 1, 2.

4. Белова О.В. Традиционная культура белорусов: новая региональная серия (серия «Традиционная мастацкая культура беларусаў») // Живая старина. 2008. № 2.

5. Бартаминский Е. Весенняя игра «Жельман»: пример паракреста с польско-украинского пограничья // Живая старина. 2008. № 4.

Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Семантическая реконструкция народной духовной культуры славян»).

Славяноведение, № 6

Л.Э. КАЛНЫНЬ, Т.В. ПОПОВА. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации. М., 2007. 267 с.

Рецензируемое сочинение Л.Э. Калнынь и Т.В. Поповой является итогом их многолетнего труда по обследованию и описанию болгарского диалектного материала. Работа интересна прежде всего тем, что авторы отказываются от столь распространенного в диалектологии дифференциального анализа языковых фактов и ставят перед собой принципиально иную цель. Исследовательская задача Л.Э. Калнынь и Т.В. Поповой заключается не в том, чтобы выявить особенности говоров, отличающие

их друг от друга и от литературного языка, а в том, чтобы полностью представить их синхронную фонетическую систему. И подобным подходом к диалекту как к синхронной языковой системе предопределяются и программа обследования, и принципы описания материала. «Такое описание дает представление о диалекте как о языке, конкретно охарактеризованном в территориальном и хронологическом аспектах» (с. 11).

Актуальность и значимость системного исследования несомненны: оно позволяет

создать синхронную структурную классификацию говоров на фонетическом уровне, что очень важно для славянской диалектологии, поскольку до сих пор отсутствует развернутое представление о синхронном структурном сходстве и различии между славянскими диалектами.

Системное описание фонетики отдельного говора чрезвычайно важно и в историческом аспекте. «Исходя из того, что различие в устройстве хронологически сосуществующих диалектов можно интерпретировать как развернутую в пространстве диахронию» (с. 13), авторы делают справедливый вывод о том, что синхронная модель диалектной системы, полностью эксплицирующая фонетические и фонематические характеристики языка независимо от того, входят ли они в состав диалектных различий или нет, может служить основанием и для исторических выводов, так как история фонетической системы должна показать, как меняется характеристика системы по всем показателям.

Необходимо отметить, что на большую теоретическую и практическую значимость подобных системных диалектных описаний в свое время обращали внимание проф. С.Б. Бернштейн и проф. Ст. Стойков, а в последние годы актуальность таких исследований в сфере диалектологии подчеркивает акад. М. Виденов [1].

Свою задачу – моделирование частной диалектной фонетической системы (далее – ЧДС) Л.Э. Калынь и Т.В. Попова решают на материале двух болгарских говоров – говора села Кортен (Старо-Загорская область в северо-восточной Болгарии) и говора села Кирютня (Чадыр-Лунгский район в Молдавии). В свете поставленной авторами цели выбор в качестве объекта исследования именно данных говоров представляется весьма удачным и полностью оправданным. Оба говора не просто относятся к одному (подбалканскому) типу – чрезвычайно важен тот факт, что говор села Кирютня, переселенческий по своему происхождению, восходит к говору именно села Кортен, часть жителей которого в 1828 г. переселилась в Россию.

Однако эти говоры, характеризующиеся общностью происхождения, в течение многих лет развивались и ныне продолжают существовать в условиях разной языковой ситуации, что открывает возможности решения ряда интересных задач в области их сопоставления. Кортенский говор (далее – КН) включен в диалектный континуум метрополии, соответственно сущес-

твует в одноязычной среде, где возможны контакты с другими болгарскими говорами и с литературным языком. Говор же села Кирютня (далее – КЯ) развивался и существует в другой стране, на территории, где его носители вступают в контакт, с одной стороны, с жителями других болгарских переселенческих сел, а с другой – с носителями молдавского, гагаузского, русского и украинского языков. Он не контактирует с литературным болгарским языком и соответственно не подвергается влиянию кодифицированной нормы (преподавание в сельской школе велось на русском языке).

Естественно предположить, что к концу XX в. говоры разошлись в своем развитии, накопив различающие их черты, что при этом переселенческий говор имеет более архаический характер, а говор села Кортен, напротив, содержит инновации, обусловленные прежде всего влиянием литературного языка. Исходя из этого предположения, исследователи ставят перед собой несколько весьма значимых для диалектологии задач, важных как в теоретическом плане, так и для практического описания конкретных говоров. Прежде всего они считают необходимым определить, существуют ли различия между двумя говорами и если существуют, то каков их характер и генезис, а затем установить, «1) какие черты звукового строя болгарского диалекта являются наиболее стабильными, а какие наиболее подвержены изменениям; 2) какие изменения в говоре являются следствием воздействия экстралингвистической ситуации, а какие – результатом внутреннего развития ЧДС» (с. 16).

Исследование строится на материале, собранном авторами в 80-е годы XX в. Как уже было подчеркнуто, полное синхронное описание фонетической системы говора предполагает особую программу обследования, существенно отличающуюся от программ исследований в рамках дифференциального подхода к диалекту. В целях построения фонетической ЧДС в рамках сегмента, соответствующего словоформе (сегмент, с двух сторон ограниченный потенциальной паузой), проводятся следующие процедуры:

1) устанавливается список звуков языка на базе предварительных данных о фонетике данной диалектной группы;

2) выявляются возможности комбинирования этих звуков друг с другом и с паузой в двучленные сочетания типа #V, #C, V#, C#, CV, VC, CC, VV. При этом учитываются и трехчленные сочетания, если на распределение звуков может влиять предшествующий

ший и последующий звуки. Для гласных учитывается место ударения;

3) проверяется допустимость/запрещенность выделенных сочетаний (в том числе и для незафиксированных сочетаний).

При моделировании фонологической системы исследуемых говоров авторы исходят из концепций, согласно которым «тождество и различие между фонемами определяются не качеством реализующих их звуков, а системой оппозиций, в которых фонемы участвуют» (с. 19). Главными факторами в процедуре фонемной идентификации являются позиционное распределение звуков (устанавливаются полные и сокращенные позиционные наборы) и их морфемная принадлежность. Подтверждающим аргументом служит позиционное чередование звуков.

Такой подход предполагает, что прежде всего определяются правила сочетания звуков и правила их позиционного чередования; устанавливаются артикуляционные признаки, которым может быть придан статус дифференциальных; выявляются позиции, где представлен максимальный набор звуков; дается список позиционных наборов звуков, укороченных в сравнении с максимальным; устанавливается состав архифонем, выступающих в позициях нейтрализации; устанавливаются правила сочетания и позиционного чередования фонем и архифонем. Таким образом, начав с описания синтагматических правил, регулирующих образование линейных звуковых последовательностей, затем на базе полученных данных исследователи выстраивают парадигматические категории в виде фонем и архифонем.

В главе «Вокализм» авторы детально описывают систему гласных, рассматривая особенности их реализации в различных звуковых сочетаниях (#V; CVC; CVC', CVCC'; C'VC; C'VC', C'VCC'; CV#; C'V#; ViV; VVi), а также в ударной и безударной позициях.

Определив позиционные наборы гласных в ударной позиции, исследователи устанавливают, что гласные *ú*, *é* и *é* запрещены после твердых согласных, а гласный *ú* запрещен после мягких согласных, шипящих и *й*. В результате анализа делается вывод о наличии принципиального сходства систем ударного вокализма в обоих говорах, при этом, однако, констатируется и существование между ними некоторых различий (варьирующие гласные *á* и *é* в позиции между мягкими согласными; различия в гласном *é*, определяемые морфологическими позициями, и др.).

При анализе безударного вокализма (предударного и заударного) особый интерес представляет исследование двух типов редукции, реализуемых в данных говорах: вертикального (изменения связаны только с подъемом) и горизонтального (изменения касаются ряда). Последний тип редукции характерен для юго-восточных болгарских говоров. Он отличается меньшим по сравнению с вертикальным типом количеством затрагиваемых гласных и позиций. Сущность редукции данного типа заключается в том, что в положении после палатализованного сегмента для ударных гласных переднего ряда *ú*, *é* отмечается передвижка в зону среднего ряда и понижение подъема, а для гласного среднего ряда ниже-среднего подъема происходит повышение подъема при сохранении рядности. Данный процесс приводит к тому, что в указанных говорах в безударной позиции после палатализованного сегмента возрастает число гласных среднего ряда. В отличие от вертикального типа редукции, который носит универсальный и безысключительный характер, горизонтальный имеет более ограниченную сферу проявления, обусловленную как фонетически, так и морфологически. Горизонтальный тип редукции сочетается с вертикальным, и это приводит к тому, что вокальные системы, обладающие обоими типами редукции, имеют более сложную организацию. Именно такое сосуществование двух типов редукции представлено и в исследуемых говорах.

Анализ материала, касающегося предударного вокализма, приводит авторов к обоснованному выводу о том, что для гласных *и* и *е*, с одной стороны, и гласных *а* и *е*, с другой стороны, преобладающим является вертикальный тип редукции. Выявленные единичные примеры колебания в выборе типа редукции позволяют заключить, что в данных говорах продолжают действовать тенденции двух типов редукции, т.е. «такую систему безударного вокализма, видимо, еще преждевременно считать полностью устоявшейся» (с. 91).

Констатируя, что для большинства гласных в заударной позиции правила сочетания не отличаются от правил для соответствующих гласных в предударной, авторы особое внимание уделяют гласным *а/е* и *е/и*, так как, по их мнению, именно сопоставление двух типов редукции этих гласных в заударных слогах определяет специфику кортенско-кирютненской разновидности вокальной системы, которая отличается от других восточноболгарских именно своеобразным сочетанием вертикального и горизонтального типов редукции.

В ходе исследования фиксируются все случаи варьирования и определяются позиционные наборы гласных в безударной позиции: в предударной позиции три позиционных набора, в ударной позиции – четыре. Констатируется, что различия в безударной позиции обусловлены прежде всего чисто фонетическими факторами: твердостью-мягкостью предшествующего согласного, положением после паузы/не после паузы, наличием последующей губной артикуляции, соседством с сонорными согласными; лишь в некоторых случаях они могут быть вызваны грамматическими и лексическими причинами.

Соответственно преимущественно фонетические (морфологические и лексические факторы играют роль лишь в отдельных случаях) предопределяются и чередования гласных, детально рассмотренные в специальном разделе. Здесь на фоне общего глубокого анализа материала особый интерес представляет рассмотрение чередований, характеризующихся наиболее сложной организацией, а именно чередований, вызванных редукцией горизонтального типа (чередования \acute{a} : e/a , e : a/e в позиции после мягких согласных, шипящих и \ddot{u}). Исследователи устанавливают, что реализация данных чередований имеет ряд существенных ограничений, в отличие от чередований, вызванных вертикальной редукцией. Убедительно показано, что оба типа редукции позиционно и грамматически разграничены.

Заслуживает внимания следующая мысль, высказанная авторами: если признать факт сосуществования в вокальной системе говоров двух систем безударного вокализма, реализуемых на основе вертикального и горизонтального типов редукции, то можно предположить наличие длительного взаимодействия и давних контактов между северо-восточными и юго-восточными диалектными системами. В результате этого взаимодействия в говорах, исследованных в работе, как и в других говорах подбалканского типа, «возникла специфическая, объединяющая отдельные признаки взаимодействующих между собой систем и как бы компромиссная по своему характеру, новая система вокализма, в которой проявилась своеобразная лексико-грамматическая “специализация” безударных гласных u/e и a/e особенно в ударных слогах» (с. 130).

При рассмотрении чередований, обусловленных качеством последующего сегмента (чередование ударных \acute{a}/\acute{e} в позиции после палатализованного сегмента),

авторы также фиксируют столкновение северо-восточной и юго-восточной тенденций, проявляющееся в том, что в одном и том же идиолекте или в речи разных лиц встречается вариативное произношение некоторых словоформ. Данный факт, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что старое фонетическое правило действует уже непоследовательно, причем разные условия существования каждого из рассматриваемых говоров приводят к тому, что влияние прогрессивной юго-восточной тенденции проникает в КН сильнее.

На основании анализа позиционных чередований гласных авторы обоснованно заключают, что в большинстве современных диалектных систем, в том числе и кортенско-кирютненской, чередования утрачивают свой последовательный и строгий характер, так как число допустимых сочетаний возрастает за счет контактов с диалектами, имеющими иные нормы допустимости/недопустимости, за счет аналогии, а также заимствований. Для рассматриваемой диалектной системы таким примером может служить не всегда строгий характер чередования \acute{a}/\acute{e} в позиции $C^{\vee}VC^{\vee}$.

В целом в результате детального исследования моделируется фонологическая система вокализма двух говоров: устанавливается состав гласных фонем, определяются их позиционные наборы (максимальный и сокращенные), выявляется состав архифонем, нейтрализующих различия в разных позициях.

Во второй главе работы исследуется консонантная система говоров.

В целях построения ЧДС в сфере консонантизма последовательно проводятся следующие процедуры: рассматриваются изменения согласных, обусловленные контекстом, содержащим вокальные и сонорные компоненты; анализируются согласные в сочетании с согласными компонентами, а также согласные в сочетании с паузой (здесь при наличии принципиального сходства между говорами отмечаются и небольшие расхождения по твердости/мягкости – в КЯ возможно большее число мягких согласных); рассматриваются правила синтагматической допустимости/недопустимости; устанавливаются различия в артикуляции, а также различия в частотности позиционных изменений по говорам; исследуются позиционные чередования согласных (по участию голоса, по твердости/мягкости, по способу образования, по месту образования; при этом подчеркивается особая роль чередований по

твердости/мягкости согласных, что представляется весьма важным для характеристики процессов развития фонетической системы болгарского языка).

В результате проведенного анализа констатируется, во-первых, наличие тенденции к сокращению консонантного состава слова, что проявляется в устранении консонантных сочетаний путем утраты одного согласного или вставки интерконсонантного гласного (хотя одновременно в некоторых случаях возможно появление новых консонантных сочетаний в результате нулевой редукции гласных), а во-вторых, ориентация фонетической модели слова преимущественно на консонантные запреты.

Все это, по мнению авторов, позволяет отнести КН и КЯ к говорам вокалического типа (по А. Исаченко) или считать их близкими таковым. При этом, учитывая возможность присутствия мягких согласных в большем числе позиций в КЯ по сравнению с КН, исследователи делают вывод о более выраженном консонантном характере КЯ говора.

Завершает исследование консонантизма КН и КЯ моделирование их фонологической системы: устанавливаются состав согласных фонем и их дифференциальные признаки, позиционные наборы согласных фонем (полные и сокращенные), консонантные архифонемы, определяются условия дистрибуции согласных фонем. При этом существенных различий между говорами не выявляется.

Определяя цель и задачи своего исследования, авторы предполагали, что между двумя говорами, разъединившимися около 200 лет назад, вряд ли обнаружатся кардинальные расхождения в фонетической системе, поскольку причиной глубоких фонетических различий, по их мнению, могут быть два фактора: несовпадение структурных импульсов, определяющих внутреннюю логику фонетического развития, и реакция на разные языковые ситуации, в которых оказываются разъединившиеся диалекты.

Возможность несовпадения внутренних структурных импульсов авторы справедливо отрицают: вряд ли внутренние тенденции развития, заложенные в основу КН, могли быть существенно преобразованы в переселенческом КЯ за сравнительно небольшой с точки зрения языкового развития срок.

Языковая же ситуация, в которую включен КЯ, приводит к присутствию в нем

лексических заимствований, однако иноязычных элементов в фонетике данного говора практически не наблюдается (что согласуется с представлением о принципиальной консервативности фонетики, которая и в условиях языковых контактов сохраняет устойчивость при наличии серьезных преобразований в лексике и грамматике).

Проведенное исследование подтвердило предположение о фундаментальной общности двух говоров, которая состоит в общности построения фонетической модели слова на основе одинаковых ограничений. Развитие фонетического слова ориентировано преимущественно на консонантные запреты, что снижает значимость признака консонантности. Общим является также наличие двух типов редукции безударных гласных, редукция до нуля гласных в заударной позиции, большая часть изменений, происходящих в группах согласных, и др.

На фоне этой принципиальной общности КН и КЯ в ходе анализа между ними были установлены и некоторые различия, а также определен генезис и характер этих различий.

Статус КЯ как переселенческого давал основания предполагать, что он более архаичен. Однако в действительности на базе синхронного описания систем двух говоров авторы приходят к заключению, что лишь отдельные черты данного говора могут быть интерпретированы как архаизмы: более последовательное, чем в КН, изменение *á/é* на месте **a* между мягкими согласными, а также, возможно, более широкое употребление мягких согласных на конце слова.

В заключение считаем необходимым еще раз подчеркнуть теоретическую и практическую ценность проведенного исследования. Подобная полная системная характеристика говоров при соответствующем расширении диапазона объектов анализа может дать основания для серьезных выводов о современном состоянии и тенденциях развития диалектов.

© 2010 г. О.А. Ржанникова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виденов М. От диалектология към социолингвистика // Езиковедски изследвания в чест на чл.кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. София, 2009.

Р.С. БАИЋ. Богослужбни језик у Српској православној цркви: прошлост, савремено стање, перспективе / Предговор Ксенија Кончаревић. Београд, 2007. 354 с.

Р.С. БАИЧ. Богослужбный язык в Сербской православной церкви: прошлое, современное состояние, перспективы

Литургический язык нового времени начал активно изучаться сравнительно недавно, причем наиболее плодотворно работы в этом направлении ведутся в Сербии. Благодаря многочисленным публикациям Ксении Кончаревић, в которых были рассмотрены различные аспекты функционирования литургического языка, языковая ситуация в Сербской православной церкви описана достаточно хорошо. И монография сотрудника Института сербского языка Сербской академии наук и искусств Ружицы Баич продолжает эту исследовательскую традицию.

Исследование открывается главами, которые посвящены общим проблемам взаимоотношения литургии и лингвистики. Это достаточно подробное и добротное описание, с одной стороны, богослужения как формы речевой деятельности (коммуникация с Богом), и с другой – общественных дискуссий о богослужбном языке.

Первые две главы содержат обзор общих проблем (богословских и филологических), связанных с языком богослужения. Перспективы развития литургического языка в славянских церквях Р. Баич связывает с особенностями формирования соответствующих национальных литературных языков. Если формирование происходило с опорой на диалекты (как это имело место в истории сербского языка), переводы богослужения на национальный язык появлялись относительно рано. Иную картину мы наблюдаем в тех случаях, когда кодифицируемая литературная норма была в значительной степени ориентирована на церковнославянский язык, как это происходило, например, с русским литературным языком; тогда переводы на национальный язык появляются позже и вплоть до настоящего времени сохраняют маргинальный характер.

Особенности взаимоотношений церковнославянского языка с национальными литературными языками влияют на судьбу литургического языка, но не определяют ее. Экстралингвистические факторы играют здесь не меньшую роль. Р. Баич совершенно справедливо связывает популярность идеи

богослужения на национальных языках с таким значимым явлением церковной жизни XX в., как литургическое возрождение.

Третья глава книги посвящена дискуссиям о литургическом языке, которые имели место в Сербской и Русской церквях в XIX–XX вв. Автор систематизирует основные доводы сторонников и противников богослужения на национальных языках. Материалом для этого раздела стала сербская и русская церковная публицистика. Автор подробно анализирует способы решения проблемы понимания литургического языка (перевод на «новославянский», исправление богослужбных книг, перевод на национальные языки, внятное чтение). Можно лишь посетовать на то, что, обращаясь к русскому материалу, автор ограничивается в основном монографией прот. Николая Балашова [1] и изданным Сретенским монастырем сборником «Богослужбный язык Русской церкви» [2]. Основная часть данных публикаций посвящена проблемам литургического языка на рубеже XIX и XX вв. Но за пределами исследования осталась серия сборников «Язык церкви» [3] и издания материалов двух конференций, связанных с этой проблематикой [4; 5]. Таким образом, нерассмотренной оказалась большая часть публикаций последнего десятилетия, которые характеризуют уже современную ситуацию. Общественная дискуссия, поводом для возникновения которой стали переводческие опыты священника Георгия Кочеткова и его единомышленников, является значимым явлением в церковной и общественной жизни России. Имя Г. Кочеткова упомянуто в книге только один раз – в заголовке рецензии прот. Валентина Асмуса на эти переводы. Таким образом, современные российские дискуссии о литургическом языке оказались за пределами исследования Р. Баич.

Если сербская ситуация описывается на основе опросов, относящихся к началу XXI в., то российские материалы в основном характеризуют ситуацию начала XX в.

Р. Баич справедливо отмечает, что при формировании языковой политики Серб-

ской или Русской поместной церкви необходимо принимать во внимание опыт других славянских поместных церквей. Так, для Сербской церкви актуальной была бы адаптация русского опыта исправления богослужебных книг и использования за богослужением более понятного «ново-славянского» языка, а для Русской церкви представляется важным знакомство с результатами сербского опыта использования национального литературного языка в качестве литургического.

Ситуация в Сербской православной церкви является богатным материалом для анализа проблемы богослужебного языка. Сербские переводы богослужебных текстов стали появляться еще в XIX в., а в 1963–1964 гг. Архиерейский синод, а затем и Собор Сербской православной церкви утвердили решение о допустимости использования сербского языка за богослужением. По мнению Р. Баич, решение Синода фактически соответствует решению Поместного собора Русской православной церкви 1917–1918 гг. (Отметим, что текст этого решения в 60-е годы XX в. оставался неопубликованным и знакомство с данным документом священноначалия Сербской церкви кажется маловероятным. Мы можем говорить лишь о типологическом сходстве этих решений.) Возникшая в те годы практика Сербской церкви заключается в том, что за богослужением сербский и церковнославянский языки сосуществуют, причем тексты, которые поются всеми верующими или же имеют учительный характер, звучат по-сербски. При этом стихиры, каноны, тропари, псалмы и т.д. по-прежнему читаются или поются по-церковнославянски. Надо отметить, что границы использования сербского и церковнославянского языков могут заметно варьироваться. Например, в храмах сербской диаспоры богослужение совершается почти исключительно на сербском языке.

Четвертая глава исследования посвящена анализу материалов проведенного автором социологического опроса о языке богослужения. Здесь проанализированы данные 500 анкет, заполненных в 2000–2001 гг. в Сербии. Анкета дает достаточно подробные сведения об информанте (образование, профессия, уровень богословского образования, частота посещения храма и причащения, участие в жизни прихода, чтение духовной литературы и т.д.), а также включает 16 вопросов, относящихся непосредственно к языку богослужения. Существенным представляется тот факт, что почти половина опрошенных является людьми, профессиональная деятельность которых

связана с богослужением (церковно- и священнослужители, певчие и чтецы). Сам факт вхождения в клир оказывается свидетельством определенного уровня языковой компетенции. 52% опрошенных имеют возраст 20–35 лет, т.е. именно они будут определять языковую ситуацию в Сербской церкви в ближайшие десятилетия.

Анализ анкет показывает, что большинство опрошенных считает церковнославянский и сербский языки равноценными при богослужении и выступает за равноправное использование их в качестве литургических языков. За свободу выбора литургического языка высказались 59,8% опрошенных (против – 37%). При этом к исключению церковнославянского языка из богослужебного использования большинство опрошенных (71,8%) относится отрицательно. Многие из них указывают на эстетические достоинства церковнославянского языка, видят в нем средство сохранения единства славянских народов. На вопрос о том, является ли какой-либо из этих литургических языков святым, 26,4% ответили, что таковым является церковнославянский, 1% – сербский, 69,4% считают, что язык не может быть святым сам по себе. Большинство опрошенных (60,7%) считает, что верующие должны понимать богослужение, в то время как 39,3% опрошенных считают, что это неважно.

На основании анализа анкет Р. Баич делает вывод о том, что, по крайней мере, в ближайшее время церковнославянский язык сохранится в Сербской церкви в качестве литургического. При этом автор констатирует, что в течение последних 50 лет у сербского литературного языка появилась литургическая функция.

Появление социолитургических исследований, посвященных литургическому языку, имеет большое значение для славистики. Разработанная Р. Баич методика может быть использована и для исследования отношения к литургическому языку клириков и мирян Русской православной церкви.

© 2010 г. А.А. Плетнева, А.Г. Кравецкий

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балашов Николай, прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001.
2. Богослужебный язык Русской церкви. История. Попытки реформации / Сост. Н. Каверин. М., 1999.
3. Язык Церкви. М., 1997–2004. Вып. 1–3.
4. Богословская конференция «Единство Церкви». 15–16 ноября 1994 г. М., 1996.
5. Язык Церкви. Материалы международной богословской конференции. М., 2002.

ΣΤΑΜΑΤΌΠΟΥΛΟΣ Δ. Το Βυζάντιο μετά το Έθνος. Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες. Αθήνα, 2009. 429 σ.

СТАМАТОПУЛОС Д. Византия после нации. Проблема континуитета в балканских историографиях. Афины, 2009. 429 с.

Перевести на русский язык название новой книги известного греческого исследователя Димитриса Стаматопулоса непросто. Аллюзия на «Византию после Византии» румынского историка начала XX в. Николая Йорги не только определила броский заголовок: монография продолжает поставленную Н. Йоргой задачу изучения восприятия византийского прошлого на Балканах и в Восточной Европе, но уже в эпоху формирования наций и национальных государств. Яркая концепция «Византии после Византии» когда-то позволила сосредоточиться на основных идеях, легших в основу идеологии румынских государств в их стремлении к продолжению византийской имперской традиции. Положение меняется после появления «наций», то есть после того, как в Европе начинают складываться государственные образования, в основу идеологии которых легли идеи этнического единства и общности происхождения, а перед историками и политиками встала непростая задача «обнаружить» подлинно «национальное» прошлое. Неудивительно, что в XIX в. повышается интерес к интерпретации и реинтерпретации «Византии», к истории отношений империи с древними народами-«варварами», к истории церкви – византийского института, пережившего Византию, – в Османской державе, ставшей на время новой империей, включившей в себя многие народы «византийского содружества». Общее прошлое (или, во всяком случае, общность исторических судеб) при новом политическом разделе европейских государств, обретавших независимость, подвигло круги интеллектуалов к настоящей борьбе концепций византийского прошлого и «монархических моделей». Исследование эволюции представлений о прошлом в национальных историографиях и находится в центре внимания автора книги о «Византии после нации».

В монографии рассматриваются параллельно несколько балканских историографических традиций: греческая, болгарская, албанская, турецкая и румынская. Представители этих историографий воспринимали историю Византии и Османской империи как часть общего прошлого, а изучение истории каждого из народов, самостоятельное развитие которых в «доимперскую эпоху» оказалось прерванным, сталкивалось с необходимостью ответа на вопрос о «подлинно национальных» истоках, о континуитете и дисконтинуитете развития, о значении национальных традиций. Д. Стаматопулос анализирует складывание разных течений внутри каждой историографической традиции, зависимость взглядов ученых и политических деятелей от происходивших событий, менявших карту мира. В этом отношении книга является продолжением первой монографии греческого исследователя (*Σταματόπουλος Δ. Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα. Αθήνα, 2003*), посвященной борьбе церковно-политических партий в Константинопольском патриархате в XIX ст.: в ней также затрагивались проблемы отношения греческих интеллектуалов к Восточной церкви и ее роли в истории формировавшейся греческой нации, а также влияние Крымской войны на дискуссии о византийской традиции, отношении к иноконфессиональному Западу и православной России. Помимо изданных научных или публицистических работ, послуживших для греческого исследователя основным источником наблюдений и выводов о формировании концепций «византийского»/ «римского»/ «османского» и «национального» прошлого, им были привлечены (и частично опубликованы) некоторые архивные материалы, в которых затрагиваются эти вопросы (в частности, материалы из переписки ученых и церковно-политичес-

ких деятелей М. Балабанова, М. Гедеона и др.).

Процесс формирования «греческой нации» и превращение «греков» (видимо, так можно перевести употребляющийся в отношении этнических греков Османской империи термин «γῆνος») в нацию-«ἔθνος» – одна из кардинальных проблем балканистики. Можно ли считать византийскую культуру, традицию, церковь греческими? Каково было влияние греческой культурной традиции на другие народы, входившие в состав империи? Была ли Османская империя продолжением Византийской? Объясняя название книги, Д. Стаматопулос подчеркивает, что под «Византией» им понимается, с одной стороны, Средневековье (как период общей для народов «византийского содружества» истории в рамках единой империи), а с другой – Константинополь, византийская/османская столица, церковный центр и воплощение имперского континуитета уже в поствизантийскую эпоху.

Ярким представителем греческой церковной историографии стал «последний фанариот», великий хартофилак Константинопольской церкви Мануил Гедеон, работы которого по истории греческой церковной элиты до сих пор не потеряли своего значения. Как показывает Д. Стаматопулос, обращение М. Гедеона к архивам патриархата и изучению его отношений с османским правительством было во многом продиктовано стремлением показать преемственность покровительства Греческой церкви со стороны султанов, в которых ученый видел наследников византийских императоров. Сопоставление взглядов М. Гедеона на прошлое греческого народа, его традиции и на «ойкуменизм» Вселенской церкви с другими концепциями потребовало от исследователя и подробного анализа политической ситуации на Балканах, сложившейся в связи с Крымской войной, а также с образованием Болгарского экзархата и болгарской церковной схизмой.

Если для греческой историографии важнейшим вопросом было определение отношения к османской власти – власти иноверных наследников василевсов – и к преемственности эллинской и византийской традиции, то для болгарской историографии в эпоху складывания государственной и церковной независимости в рамках экзархата, а затем и самостоятельного государства, таким вопросом стало происхождение: гуннские или славянские племена положили начало болгарскому народу? В

книге подробно рассматриваются концепции болгарского национального прошлого, начиная от «Истории славяноболгарской» Паисия Хиландарского до дискуссий М. Дринова с Г. Крестовичем о славянском/гуннском происхождении болгар и близких русскому религиозному мыслителю и писателю К.Н. Леонтьеву идей М. Балабанова.

Изложение взглядов К.Н. Леонтьева на «византизм» и Россию как преемницу и наследницу Византии, несущую традиции вселенского православия в «славянский мир», занимает важное место в работе Д. Стаматопулоса. Представления об этой преемственности в российском обществе (у К.Н. Леонтьева, а также известного церковного историка И.И. Соколова) весьма существенны для понимания той весомой роли, которую Россия, несмотря на поражение в Крымской войне, начала играть на христианском Востоке и на Балканах к началу XX в. и того, как эта роль оценивалась русской интеллигенцией. Филорусские настроения и связанные с усилением влияния России изменения политических предпочтений, в том числе различные для представителей разных политических направлений решения дилеммы «Россия или Запад», оказали существенное влияние на идеологические дискурсы государств Восточной и Юго-Восточной Европы.

Оценка «Запада» для национальных историографий балканских и южно-европейских государств также оставалась одной из центральных проблем самоидентификации. Это особенно показательно для румынской историографии, рассмотренной Д. Стаматопулосом в последнем разделе книги. Споры о происхождении румын – от племен «дако-гетов» или римлян («дакоримлян»), обсуждение вопросов о принадлежности Молдавии и Валахии к европейской культурной традиции, попытки выяснить степень влияния «османского» господства и «славянского» православия на национальную идентичность, роль греческой элиты-фанариотов оказались в центре внимания румынских историков (А.Д. Ксенопол и др.). Развитые в трудах Н. Йорги – создателя концепции «Византии после Византии» в Молдавии и Валахии – выводы о «западной», «латинской» (римской) культуре румынского народа имели истоком представления о Византии как части Запада, об «исламском неовизантинизме» Османской империи и о продолжении римских и византийских (а не балкано-славянских) традиций в румынских государствах.

Книга Д. Стаматопулоса, посвященная проблемам истолкования прошлого в национальных историографиях, по сути, является исследованием процесса формирования государственных идеологий в Восточной и Юго-Восточной Европе, борьбы разных концепций исторического развития внутри каждой национальной историографической школы и зависимости эволюции представлений о прошлом от политических событий настоящего. Представления

об историческом континуитете и дисконтинуитете, о Византии и Османской империи оказываются подлинным зеркалом проходивших в регионе этнополитических процессов, а Д. Стаматопулос, таким образом, нашел еще один интересный подход для более глубокого изучения весьма важного их аспекта – идейного.

© 2010 г. *В.Г. Ченцова*



Конференция «Человек на Балканах глазами русских»

Готовится к печати сборник «Человек на Балканах глазами русских наблюдателей», основанный на материалах научной конференции, прошедшей в Институте славяноведения 10–11 ноября 2009 г. Конференция была проведена в Отделе истории славянских народов периода мировых войн.

Открывая конференцию, руководитель проекта *А.Л. Шемякин* указал на этапное для коллектива значение мероприятия в методологическом плане как открывающего новое, дополнительное направление в стратегии исследования проблемы «Человек на Балканах». По его мнению, хорошо освоенные в историографии «стандартные» «государственно-политические» и «институциональные» подходы недостаточны для изучения сложных взаимосвязей между народами, пусть даже близкими – славянскими. Без опоры на методы и инструментарий быстро обновляющегося социокультурного знания, подчеркнул он, серьезным исследователям не обойтись. С этой позиции вполне закономерно в первый блок повестки дня конференции вошли доклады, посвященные вопросам теории и методологии имагологических исследований.

«Имагологический аспект межславянских культурных связей» – так назывался доклад *В.А. Хорева* (ИСл РАН), пионера изучения этой темы не только в рамках Института славяноведения. Под его руководством сплоченный коллектив культурологов, филологов, историков и других специалистов Института добился выдающихся результатов, отмеченных государственной наградой Польской республики.

Докладчик, глубоко изучивший проблему, обратил внимание, прежде всего, на связь между интенсивным развитием процесса глобализации и интересом ученых всего мира к проблемам имагологии. Парадоксально, считает он, что глобализация привела не к стиранию различий между народами, что казалось бы естественным, а, напротив, – к поиску и утверждению ими своей идентичности, к противостоянию тенденции к размытию собственной культуры. Сформировавшись в середине XX в. как этнографическая дисциплина, имагология приобрела затем самостоятельное значение и продолжает обогащаться за счет смежных наук, разработки новых методик. Предметом изучения в новой научной отрасли являются образы, картины мира, складывающиеся в национальной культуре другого народа, а также его национальные мифы, национальные стереотипы, выяснение их происхождения, структуры, функций. Здесь весьма широкое поле деятельности. Разные социальные слои, группы, организации создают свои мифы и свои стереотипы, и они очень часто не совпадают с реальностью. Но через чужую культуру человек познает собственную культуру, через «другого» – самого себя.

Более конкретно имагология как наука изучает этнические стереотипы, проявляющиеся в сфере культуры, но также стереотипы литературные, т.е., очевидно, те же этнические или национальные, но отраженные в литературе – художественной, публицистической, описаниях путешественников и т.п. Очень образно Хорев определяет понятие стереотип – это «застывшая», постоянная модель, не существующая в реальном мире. Другое качество стереотипов – это «оценивающие суждения», обладающие исключительной силой убеждения и инерции из-за удобства и легкости их восприятия и использования.

Докладчик выступил с любопытной постановкой вопроса: имагологический подход, утверждает он, направлен на изучение комплекса взаимосвязей духовной культуры народов, что позволило подойти к *пересмотру соотношения история/культура в пользу признания большей значительности второго компонента*. И далее: осмысление фактов и событий, являясь органической частью истории, закрепляется в культуре с помощью языка – так культура выступает активным участником исторического процесса; она влияет на формирование национального и общемирового сознания. А из всех феноменов культуры преобладающая роль в закреплении тех или иных форм общественного сознания принадлежит, по его мнению, литературе.

С пониманием относясь к первой части приводимого Хоревым постулата, хочу заметить, что литература может претендовать на преобладающую роль лишь функционально – и то только на определенный ей историей период, а в качестве противовеса «холодной истории» уместнее, на мой взгляд, использовать понятие более многофакторное, например, *социокультурную природу* того или иного государства (или этногеографического пространства) (Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003).

С докладом «Принцип изображения “другого” в российской науке второй половины XIX в.: термины, методы, стереотипы восприятия» выступила М.В. Лескинен (ИСл РАН). Она так трактует само появление имагологии – в середине XX в. на почве «антропологических» и «лингвистических» поворотов в гуманитарных науках произошла «перекодификация» прежних форм и методов научного анализа. Признание в качестве одного из первичных инструментов самоидентификации получило описание себя через другого (иного). В дискурсе о другом стал доминировать акцент на изучении *способов видения, оценки и интерпретации его в текстах культуры* с точки зрения нормопорождающей практики, а уже существовавший обширный комплекс собранных и классифицированных мнений и суждений о разных народах анализироваться в рамках теории коммуникации. Все это привело к рождению научных типологий, но также и сопутствующих им этноцентрических предубеждений. В этой системе образы и стереотипы «другого» получают иную трактовку: ведь позиция наблюдателя-путешественника, доминировавшего в качестве «дознавателя» при зарождении этнографии в середине XIX в., когда внешнее наблюдение считалось верным и единственным гарантом объективности, и роль ученого-исследователя в XX в. подчиняются разным установкам и предубеждениям.

Собственный интерес докладчика заключается в изучении механизма функционирования стереотипов. В частности, утверждает Лескинен, представления и стереотипы, сложившиеся в традиционном обществе, значительно отличаются от тех, что «работают» в сознании интеллигенции и элиты в обществах иного уровня, на другом уровне историко-культурного контекста, где в процессе формирования национальной идентичности происходит конструирование своих стереотипов, а внедрение их осуществляется с использованием средств просвещения и пропаганды.

Доклад нижегородского университетского профессора М.В. Белова был посвящен анализу того, как изучался образ «другого» в разных гуманитарных науках: в социальной психологии, культурной географии, в структурных исследованиях «картины мира» и других. Пока, наконец, образы «другого» не стали предметом специального исследования в синтетической субдисциплине, вышедшей, по мнению докладчика, из сравнительной истории литератур и названной «имагология». Опираясь на огромный исследовательский и результативный материал из этих и других гуманитарных наук, Белов оперирует с понятием «стереотип» как с одним из центральных в имагологии. Специальное внимание он уделяет вопросу о применении теоретического знания к литературе путешествий – распространенному виду описательных стратегий при изучении Балкан, т.е. вопросу о выработке и формулировании методологических подходов (для случаев, когда старые стереотипы трансформируются и возникают новые формы восприятия), а также методике полевых исследований, непосредственных зрительных контактов, наблюдений извне или в той или иной степени «изнутри», вплоть до конкретных научных программ.

Во второй части доклада Белов рассматривает типологию и эволюцию описательных стратегий, основой для чего послужили материалы путешествий русских людей и дипломатов в первой половине XIX в. на Балканы. Методология изучения «чужого» складывалась не сразу – первыми авторами «литературы путешествий» были ученые-любители или вообще случайные люди. Будучи часто выходцами из дворянской элиты, они демонстрировали патерналистский взгляд на балканцев – взгляд из мира цивилизации. Позже с наступлением «эры народников» появилась потребность и возможность сравнивать с русскими крестьянами, например, сербских селян. Для

начала же XIX в. в русской путевой прозе и деловой переписке было характерно наличие двух основных вариантов восприятия балканских реалий: сентиментализм и неоклассицистское обращение к «славянской антике».

Доклад *А.Л. Шемякина* (ИСл РАН), посвященный методологическому значению имагологического знания для исторических исследований, был обращен к результатам исследования специфики политического процесса в независимой Сербии в XIX в. Шемякин показывает, что «институционально имитировать Европу автоматически не значит быть ею»: восприятие каждой сербской партией своей политической роли как *миссии*, а себя – в качестве спасительницы Отечества, приводит к тому, что в эпоху последних Обреновичей партийная борьба приобретала жестокий характер, а коалиционных кабинетов практически не существовало.

Когда общественная дисциплина, да и весь политический процесс базируются на личностных, а не на формальных принципах (что характерно для традиционного общества), считает автор, то чувство долга к своему ближнему кругу – родственникам, землякам, друзьям, – как того требовал старый *обычай*, проявляется у его участников сильнее, чем общегражданская ответственность, закрепленная *законом*. Соответственно, «другой» в их глазах представлял не как представитель своего сообщества, думающий по-иному, но как чужак. *Правовое сознание*, составляющее основу европейской политической культуры, в Сербии не сложилось – ни у народа, ни у элиты, ни у суверена, хотя в стране номинально уже существовало европейское политическое пространство. Таким образом, насилие в различных проявлениях (причем – и «сверху», и «снизу»), заключил Шемякин, являлось важнейшим фактором (особенностью) политического развития Сербии.

Наконец, такой его постулат: национальные, или *внешние*, акценты превалировали в сознании сербской элиты над пониманием необходимости *внутреннего* развития страны. Поиски путей решения задачи «освобождения и объединения» отвлекали у нее слишком много средств и внимания, отодвигая проблему гармонизации отношений между государством и обществом, как и внутри самого общества, на второй план. В этом взгляде «на сторону» и заключалась еще одна причина консервации традиционного состояния сербского общества и один из главных тормозов движения Сербии по пути действительной европеизации и модернизации внутригосударственной жизни.

В самостоятельный блок сложились выступления участников конференции, посвященные конкретным имагологическим исследованиям, в частности, взаимосвязям между Россией и балканскими государствами на высшем уровне (между правящими династиями, дипломатическими работниками и проч.). Это доклады *В.Б. Хлебниковой* (МГУ) «Сотрудники российской дипломатической миссии в Цетинье и князь Николай. Проблемы диалога и взаимопонимания», *О.В. Соколовской* (ИСл РАН) «Образы греков в переписке королевы эллинов Ольги Константиновны», *Л.В. Кузьмичевой* (МГУ) «Балканы глазами представителей Дома Романовых в конце XIX – начале XX в.».

Из представленного ими материала складывается впечатление о том, что работавшим на Балканах русским дипломатам, военным агентам и другим специалистам, как правило, предстояло пережить ломку имевшихся стереотипов. Приезжавшие туда с патерналистскими чувствами, они очень скоро убеждались в неостребованности такого «товара» в отношениях с представителями другого народа, не умевших (или не желавших) скрывать истинных чувств. Но заявлявших требования о военной и особенно финансовой помощи. Как показала Хлебникова, в Черногории князь Николай быстро научился манипулировать русскими дипломатическими представителями, которые, возможно, именно из-за неумения быстро освоить новую – во многом неожиданную для них – реальность оказывались в слабой позиции. Из заключительных слов выступления Хлебниковой – на Балканах никакими деньгами союзник не создается, это Россия окончательно поняла в 1914 г. – следует, что для русских такое качество балканцев как высокой степени прагматизм оказался неожиданным, а «освоение» и «переваривание» его потребовало многих десятилетий.

Подобный русский стереотип выковывался не в последнюю очередь из идеологии, построенной на провозглашении высокой миссии России в православном мире. Он был свойственен, естественно, самому дому Романовых. Обнаружение царственными особами, побывавшими на Балканах во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., «размышления духовности» здесь, охлаждения к церкви было для них одним из самых неприятных сюрпризов. По этому поводу Кузьмичева замечает: русские императоры проявляли *личную заинтересованность* в восстановлении православной традиции на Балканах, насколько это было возможно. Она же, ссылаясь на письменный источник, показала, сколь велик был разрыв в представлениях Александра II о балканцах: приехав на болгарский

фронт в 1877 г., император был поражен высоким уровнем жизни и свободой суждений болгарских крестьян, не знавших ни крепостного права, ни личной зависимости.

Особенно выразительны описанные Соколовской картины патриархального восприятия действительности греческой королевой Ольгой, урожденной Романовой, которая за 50 лет жизни в Греции, вращаясь в высшем свете, так и не обзавелась дружбой ни с одним оригинальным умом эпохи. Дружить она предпочитала с невзыскательными греческими крестьянами, солдатами, простолюдинами. Горестно писала младшему брату: «Какой грех портить такой чудный народ – ему нужно патриархальное правительство, а не эту безумную конституцию с этим национальным бичом – депутатами». Поистине, сталкиваясь с «другим», познаем самих себя.

Еще один блок докладов можно назвать военным. Он менее компактен хронологически, охватывает фактически весь XX век. *В.Б. Каширин* (ИСл РАН) на основании материалов ЦГВИА осветил вопрос о собранной российскими военными агентами информации об армиях балканских государств, в частности, об их высшем комсоставе. Он обратил внимание на то, что агентов интересовали преимущественно профессиональные качества военных, давая личные характеристики, они не отмечали этнопсихологического своеобразия аттестуемых. В результате, когда начались войны – балканские, а затем и Первая мировая, сведения, собранные в мирное время и, очевидно, по параметрам узкой квалификационной военной схемы, оказывались не только недостаточными, но нередко и просто неверными.

Но не всегда русские наблюдатели попадали впросак. Это следует из доклада *А.А. Силкина* (ИСл РАН) «Политическая ситуация в Королевстве СХС глазами русского офицера. 1919–1920-е гг.». Капитан 2-го ранга Апрельев, эмигрировав из революционной России и став в Королевстве военно-морским агентом, оказался перед фактом объединения в одно государство разноплеменного южнославянского населения, что явилось весьма неожиданным для человека, только что вынырнувшего из пламени Гражданской войны, и заставило серьезно проанализировать ситуацию. По мнению Силкина, трезвое наблюдение за реальностью в новом государстве позволило Апрельеву не обольщаться поверхностным русофильством сербов. Отношение к России как к некоей мифической стране, сохранявшееся у них с давних пор, и к которой теперь были устремлены взоры многих из них благодаря «моде на коммунистическую идею», капитан соотносил с их социальным сознанием – сознанием владельцев крепких хозяйств, к тому же хорошо развитых политически. Апрельев прозорливо «углядел» отнюдь не блестящее политическое будущее Югославии, считает Силкин. Правда, из-за отсутствия сведений о самом капитане, его происхождении, образовании, карьере и т.п., трудно понять, являлось ли его предвидение результатом работы свободного от стереотипов ума (либо в нем господствовали какие-то другие стереотипы) или было просто случайным.

А.Ю. Тимофеев (Сербия) в докладе «Русские и сербы: опыт взаимовосприятия. Осень 1944 г.» определил Вторую мировую войну как поле первых контактов для возобновления связей между сербами и русскими, прерванных в 1920–1930-е годы. Балканцы встретили русских как союзников, отмечает он. Но какой сербы увидели победоносную Красную армию? Огромное впечатление оставила мощь советской военной техники, победный ход ее нескончаемых колонн. Однако, согласно архивным документам, восторженное удивление балканцев, пораженных силой и задором-удалью военнослужащих (очень молодые ребята и уже в больших чинах, демонстрируют уверенность, опыт), перемешивалось с разочарованием (плохо одеты и обуты, слабый рацион, несмываемая усталость пехотинцев).

Завершающий доклад *А.С. Стыкалина* (ИСл РАН) «Румыния 1960-х годов глазами членов Союза писателей СССР» базируется на сохранившихся в архивах отчетах советских литераторов и литературных чиновников о поездках за границу. Особый интерес представляют заинтересованные наблюдения бывшего дипломата Саввы Дангулова, посетившего в 1964 г. Румынию. Ему, обладателю определенного советского стереотипа и советского опыта, пришлось в полюбившейся и хорошо ему известной по прежней дипломатической работе стране пережить неразделенное чувство – обнаружить, что румынская интеллигенция отворачивается от советского опыта, что он ей претит. Благодаря таким визитерам Союз писателей СССР накапливал сведения о настроениях в странах «народной демократии», которые, естественно, передавались затем в вышестоящие органы.

Научная конференция «Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX века. К 65-летию Великой Победы»

22 апреля 2010 г. в Институте славяноведения РАН состоялась научная конференция, посвященная 65-летию Победы СССР над фашистской Германией. Конференция была организована в рамках реализации проекта Программы Отделения историко-филологических наук РАН «Войны и конфликты в судьбах славянских народов XX в.: социальный аспект» с финансовой помощью Отделения и Президиума РАН. Организатором конференции выступил Отдел истории славянских народов периода мировых войн, а точнее, авторский коллектив, занимающийся разработкой указанного проекта. Идея конференции состояла в том, чтобы обратиться не к военно-политическим аспектам войн и конфликтов XX в., а к социальной истории военного времени, выяснить, как народы Центральной и Юго-Восточной Европы переживали военные столкновения и, по возможности, сравнить условия жизни и борьбы в годы Первой и Второй мировых войн.

Перечень проблем, которые предлагались к рассмотрению, был весьма широк: это реакция власти и общества на вызовы военного времени, повседневная жизнь солдат, офицеров и гражданских лиц, национальные отношения внутри многонациональных государственных образований, проблемы беженцев, пленных и интернированных, соотношение движения Сопротивления и коллаборационизма, семья и семейные отношения, изменение традиционной роли женщины и др.

Началась конференция с приветственного слова директора Института славяноведения РАН *К.В. Никуфорова*. Со вступительным словом от лица оргкомитета конференции выступила его председатель *Е.П. Сератионова*, остановившись на основных замыслах участников проекта.

Тематика утреннего заседания первой секции в основном затрагивала события в регионе в годы Первой мировой войны. Его модератором являлся *С.З. Случ*. Было заслушано десять докладов, вызвавших многочисленные вопросы, а по некоторым из них завязалась достаточно острая дискуссия.

Доклад *Р.П. Гришиной* был посвящен реакции Земледельческого народного союза на вступление Болгарии в Первую мировую войну. *Г.Д. Шкундин* красочно живописал представления болгарских и русских солдат и офицеров друг о друге. *Г.И. Шевцова*, основываясь на материалах своей недавно вышедшей монографии, осветила деятельность санитарного отряда петроградского Славянского благотворительного общества в Сербии. *В.Б. Каширин* постарался на основе документов доказать абсурдность утверждений отдельных националистически настроенных украинских авторов по поводу героизма и выдающейся роли украинских отрядов австро-венгерской армии на примере военной операции по взятию горы Маковка в Карпатах весной 1915 г. Выступление *Ю.В. Лобачевой* касалось югославянской эмиграции в Южной Америке накануне и в годы Первой мировой войны. Яркую картину испытаний, выпавших на долю гражданского населения Восточной Галиции, нарисовала в своем докладе *М.Э. Клопова*. Гостя из Харькова *О.Н. Гуринова* описала положение, сложившееся в Македонской военно-инспекционной области в 1915–1916 гг. Еще два доклада этого заседания касались кануна Второй мировой войны. В выступлении *Е.Ю. Борисенок* затрагивалась ранее не поднимавшаяся проблема мародерства со стороны солдат Красной армии, вступившей на территорию Западной Украины в 1939 г., и беспощадная борьба военного руководства с этим явлением. Весьма интересные факты были изложены в докладе *О.В. Петровской* «Восприятие Красной армии населением Западной Белоруссии в 1939–1941 гг.». *Е.П. Сератионова* попыталась проанализировать и сравнить формирование чехословацких воинских частей на российской территории в годы Первой и Второй мировых войн.

Вечернее заседание первой секции «Славянские народы в годы Второй мировой войны» вела *Е.Л. Валева*. Открыл его докладом «Власть и террор в Советском Союзе» *С.З. Случ*. *А.Н. Канарская* подробно остановилась на жизни и деятельности польских политических эмигрантов в СССР в 1920–1940-е годы. *Е.Л. Валева* четко обозначила национальную специфику движения Сопротивления в Болгарии и тенденцию к новым оценкам событий,

появившуюся в болгарской историографии. Политический портрет Дража Михайловича представила *Н.С. Пилько*.

Вторая секция вела работу также на двух заседаниях, ведущей которых выступила *Н.М. Куренная*. Были заслушаны выступления, посвященные окончанию Второй мировой войны и формированию послевоенного мира. *Л.Я. Гибанский* на примере Югославии поставил проблему национальных и национально-государственных интересов в многонациональной стране. *Т.В. Волокитина* говорила о сложившемся образе Красной армии в Болгарии и его соотношении с реальностью. Национальную проблематику продолжила *Т.А. Покивайлова*, рассказав о национальных меньшинствах в Трансильвании в годы Второй мировой войны. *Г.П. Мурашко* проанализировала решения относительно судеб венгерского меньшинства в Словакии сразу после Второй мировой войны и изменению позиции Москвы в этом вопросе. *А.С. Аникеев* осветил социальные аспекты войны в Греции в 1945–1949 гг.

Послеобеденное заседание секции касалось вопросов идеологии, науки и литературы в годы войны и о войне. Общее оживление вызвал совместный доклад *М.В. Лескинен* и *Н.М. Куренной* «Женщины в годы оккупации». Молодой коллега из Саратова *М.В. Ковалев* выступил с интересным докладом о русских историках в Праге в годы Второй мировой войны и деятельности там Русского исторического общества. *Н.М. Куренная* сравнила два взгляда на окончание войны венгерского писателя *Й. Дарваша* и *К. Симонова*. *Н.В. Шведова* обратила внимание на антивоенный протест в поэзии словацких сюрреалистов в 1940-е годы, *И.А. Герчикова* выделила чешскую литературу, специально посвященную холокосту. Заключительный доклад на вечернем заседании второй секции сделала *Л.Ф. Широкова* о том, какое отражение получила Вторая мировая война в словацкой литературе в 1940-е годы.

Докладчики, которые в силу тех или иных причин не смогли принять непосредственное участие в конференции, представили письменные тексты либо тезисы выступлений. *С.С. Беляков* из Екатеринбурга прислал тезисы доклада «Идеологи усташского движения об исламе и православии: к истории одного мифа». Коллега из Харькова *Л.Н. Жванко* подготовила тезисы на тему «К проблеме изучения положения женщины-беженки в Первую мировую войну». *Д. Кодайова* (Братислава) посвятила свой доклад стратегии выживания в годы Первой мировой войны, прислав текст под названием «Война – это смерч. Чрезвычайное положение и стратегия выживания в годы Великой войны (на примере Словакии)». Коллега из Праги *Я. Немечек* подготовил выступление в тезисах «Чешское общество и Советский Союз 1939–1945 гг.». Тему русской эмиграции в странах ЦЮВЕ, которой касался *М.В. Ковалев*, продолжила *О.Л. Рябченко* (Харьков), в тезисах «Мысли эмигрантского студенчества тянутся к Золотой Праге: дороги и бездорожье украинских студентов в послевоенной Европе (1920-е годы)». *Е.Ю. Гуськова* предложила для обсуждения тезисы доклада «Балканские войны 1990-х и их последствия для сербского народа».

Всего в конференции приняли участие более 30 участников. Был обсужден ряд новых, ранее не поднимавшихся в историографии проблем. Доклады будут доработаны в статьи для дальнейшей публикации в сборнике.

© 2010 г. *Е.П. Серапионова*



К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИЛЕНА НИКОЛАЕВИЧА ВИНОГРАДОВА

18 июня 2010 г. исполнилось 85 лет Владилену Николаевичу Виноградову – известному российскому историку, доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, главному научному сотруднику Института славяноведения РАН (биографию В.Н. Виноградова и обзор основных работ см. в журнале «Славяноведение», 2005. № 4). Владилен Николаевич – крупнейший знаток международных отношений в XVIII – первой трети XX в., автор 11-ти монографий, более 400 научных работ. Своим высоким профессионализмом и эрудицией он снискал глубокое уважение коллег-историков как в России, так и за рубежом.

Сфера научных интересов ученого по-прежнему обширна. Это и различные аспекты истории Румынии, Великобритании, и бессарабский конфликт в отношениях СССР и Румынии в 1918–1940 гг., и развитие международных отношений на Балканах – начиная со второй половины XVIII в. и до окончания Первой мировой войны. Масштабен и круг изучаемых проблем. Это – прогрессирующий кризис военно-феодальной Османской империи и происходящее параллельно с ним усиление внимания европейских держав к балканским владениям Турции; роль Восточного вопроса в европейской политике, столкновение интересов главных участников «европейского концерта» на Балканах, политика России в Восточном вопросе и отношение официального Петербурга к балканским христианам, а также многочисленные русско-турецкие войны, Крымская война 1853–1856 гг., Восточный кризис конца 1870-х годов, балканские войны 1912–1913 гг. и балканские фронты Первой мировой войны. Один из последних трудов, посвященных этой тематике «Балканская эпопея князя А.М. Горчакова» (М., 2005).

Лучшие из работ В.Н. Виноградова отличают не только глубина анализа источников, широкие обобщения, но и стилистическое мастерство, фирменный «виноградовский» стиль, присущее автору остроумие, умение передать драматизм столкновения противоборствующих государственных интересов, персонифицированных выдающимися личностями, «делавшими» историю. Мастерство историка-биографа проявилось в книге В.Н. Виноградова, посвященной взаимоотношениям королевы Виктории с одним из крупнейших британских политиков своего времени, лидером консерваторов – «Бенджамен Дизраэли и фея на троне» (М., 2004).

В.Н. Виноградовым была значительно расширена источниковая база исследований, в научный оборот были введены многочисленные ранее неизвестные документы (в частности, из Архива внешней политики Российской империи). Работы авторского коллектива, возглавляемого им, успешно вписались в контекст мировой балканистики, сказав в ней подлинно новое слово.

В последнее десятилетие все большее внимание Владилена Николаевича привлекает XVIII столетие. Были созданы первоклассные коллективные труды – «Век Екатерины II. Россия и Балканы» (М., 1999), «Век Екатерины II. Дела балканские» (М., 2000). В конце 2004 г. вышла в свет фундаментальная (более 40 п.л.) работа «История Балкан. Век восемнадцатый».

В.Н. Виноградов продолжает усиленно заниматься и проблемами Первой мировой войны, в том числе связанными с ее генезисом, по которым до сих пор продолжают споры в профессиональной среде. Виноградов – один из основателей российской Ассоциации историков по изучению Первой мировой войны, участник многих конференций, член авторского коллектива ряда работ по указанной тематике, в том числе обобщающей монографии «Первая мировая война» (из серии «Мировые войны XX века». М., 2002).

Одиннадцатая по счету монография В.Н. Виноградова «Двуглавый российский орел на Балканах. 1683–1914», завершенная, но пока не изданная, подводит итог многолетним научным изысканиям автора и является значительным явлением в отечественной и мировой историографии. Она представляет собой обобщающий труд, в котором дается впечатляющая картина балканской российской политики, развития отношений России с европейскими странами и с Османской империей почти за четыре века.

Свою эрудицию и профессиональные навыки В.Н. Виноградов всегда охотно передавал начинающим историкам: ученики Владилены Николаевича работают в различных научных, учебных и государственных учреждениях, в том числе и за пределами России. В.Н. Виноградов принимал участие в подготовке учебников по Новой истории Европы и Америки для студентов университетов; принадлежащие его перу главы в этих учебниках, посвященные как балканской, так и британской истории, известны не одному поколению профессиональных историков со студенческой скамьи.

В последние годы один из крупнейших отечественных специалистов по Новой истории особенно активно сотрудничает с журналом «Славяноведение», где был опубликован ряд принципиально важных его статей по ключевым проблемам истории международных отношений в XIX в., в том числе «Канцлер А.М. Горчаков в водовороте Восточного кризиса 70-х годов XIX века» (2003. № 5), «Являлась ли Крымская война для союзников “достойной сожаления глупостью”?» (2005. № 1), «Русско-турецкая война 1877–1878 годов: власть и общество» (2008. № 5), «На пути к Адриано-польскому миру» (2009. № 5), «Распад Австро-Венгрии и Румыния» (2010. № 1).

В.Н. Виноградов – историк счастливой судьбы, сумевший реализовать свой потенциал в многочисленных завершённых трудах. В свои 85 лет он продолжает трудиться над воплощением новых творческих замыслов.

Для коллег разных поколений, работающих с ним рядом, Владилен Николаевич Виноградов остается не только профессионалом, вызывающим постоянное восхищение, не только примером рыцарского служения своему ремеслу, но и живым олицетворением той традиции, без сохранения которой российская историческая наука едва ли окажется способной решать на достойном уровне стоящие перед ней задачи.

Коллеги

Дирекция и коллектив Института славяноведения РАН, редколлегия и редакция журнала «Славяноведение» присоединяются к поздравлению и желают Владилену Николаевичу здоровья и творческих успехов.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2010 году

СТАТЬИ

Аржакова Л.М. Долгая пауза после блистательных успехов: Русская историческая полонистика на исходе XIX века. С. 44–53	№ 1
Артамонов В.А. Украинское казачество между Петром I и Карлом XII в полтавский период Северной войны 1708–1709 годов. С. 38–54	№ 2
Асташин Н.А. Дальневосточный вектор венгерской внешней политики: XX век. С. 12–18	№ 1
Баева И. Ведущие тенденции в болгарской внешней политике в 70–80-е годы XX века. С. 29–35	№ 3
Вернер И.В. О языковой практике Максима Грека раннего периода <i>sub specie grammaticae</i> . С. 30–39	№ 4
Виноградов В.Н. Распад Австро-Венгрии и Румыния. С. 3–11	№ 1
Гибианский Л.Я. Военный переворот в Югославии 27 марта 1941 года: общественные устремления и внешнеполитические условия. С. 36–52	№ 5
Гришина Р.П. Заметки об изданиях, посвященных 130-летию русско-турецкой войны 1877–1878 годов и Освобождению Болгарии. С. 3–19	№ 3
Ефимова В.С. К вопросу о значении так называемых знаков препинания в древнейших славянских списках гомилитических текстов. С. 55–62	№ 2
Из словаря «Славянские древности». С. 41–55	№ 6
Керимова М.М. Этнографические изыскания М.Н. Харузина (к 150-летию со дня рождения). С. 18–26	№ 6
Кимура К. Под знаком дунайского содружества. Венгерско-югославские культурные связи в 1945–1948 годы. С. 53–64	№ 5
Колонтари А. Переговоры по установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и Венгерским Королевством в 1934 году. С. 19–30	№ 1
Крючков И.В., Мухортов А.С. Польские граждане на территории Ставропольского края в 1939–1946 годах. С. 20–28	№ 3
Левочская А.С. «Cár» и «Krály»: размышления Юрия Крижанича о монарших титулах. С. 65–72	№ 5
Лескинен М.В. Великороссы/великорусы в российской научной публицистике (1840–1890). С. 3–17	№ 6
Лукин П.В. «Старцы» или «старшие»? О терминологии славянской «племенной знати». С. 12–30	№ 2
Маткович С. Хорватские политические партии и идея модернизации в начале XX века. С. 16–22	№ 5
Морозов С.В. К вопросу о роли так называемой буковинской железной дороги в развитии Мюнхенского кризиса. С. 31–43	№ 1
Павлович С. Синтаксис древнесербского родительного падежа с предлогом <i>ув</i> в свете теории семантических локализаций. С. 21–29	№ 4
Пилипенко Г.П. Разработка вопросов интерференции и заимствования в лингвистической литературе. С. 73–81	№ 1
Пилипенко Г.П. Особенности усвоения сербского языка воеводинаскими венграми. С. 73–81	№ 5
Ристич Ст. Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка. С. 33–40	№ 6
Романенко С.А. Монархия Габсбургов и Хорватия начала XX века глазами писателя Мирослава Крлежи. С. 23–35	№ 5
Семенов И.Г. К вопросу об отношениях Руси и Хазарского каганата в IX – первой половине X века. С. 3–11	№ 2
Степанов Ц.И. Болгары и христианство до 864 года: историографический ракурс (1989–2009). С. 3–10	№ 4
Флорья Б.Н. Московский договор между Россией и Речью Посполитой и внешнеполитические планы А.Л. Ордина-Нащокина. С. 31–37	№ 2
Шабалина Е.В. Числительное: механизмы порождения оценочных коннотаций (на материале русского и польского языков). С. 74–82	№ 1

Шведова Н.В. «Я не мог видеть самые черные вещи на свете». Ожидание будущего в сюрреалистической поэзии Владимира Райсела. С. 54–61	№ 1
Шемякин А.Л. Особенности политического процесса в Сербии глазами русских (последняя треть XIX – начало XX века). С. 3–15	№ 5
Шимов Я.В. Планы эрцгерцога Франца Фердинанда по преобразованию Австро-Венгрии: утопия или нереализованная возможность? С. 11–20	№ 4
Янышкова И. Лингвистическое наследие Вацлава Махека. С. 27–32	№ 6

ДИСКУССИИ

Лукин П.В., Стефанович П.С. Новый труд по истории древних славянских государств С. 67–79	№ 4
Терзич С. История Сербии с гневом и пристрастием. С. 82–96	№ 5

СООБЩЕНИЯ

Антошин А.В. Научные связи А.В. Соловьева в эмиграции в 1950–1960-е годы (по материалам Русского архива Лидса). С. 49–54	№ 4
Бардах Ю. Ш Литовский статут и его проекции. С. 72–78	№ 2
Буркут И.Г. Русины Бачки, Срема и Славонии: опыт сохранения этнической самобытности (середина XVIII века – 1918 год). С. 97–103	№ 5
Бухарин Н.И. К вопросу о российско-польских отношениях (1992–2008). С. 91–97	№ 1
Вишневский Г. М.А. Балакирев и Ф. Шопен. С. 56–62	№ 6
Волобуев В.В. О некоторых подпольных политических организациях в Польше в 1950–1960-е годы. С. 36–43	№ 3
Даркович А.Л. Западнобелорусские земли в политике польского государства в 1919–1926 годы (на примере городского самоуправления белорусского Полесья). С. 55–66	№ 4
Иванов С.А. Мифологический конвой «Басни о Совии» в составе Иудейского Хронографа. С. 63–71	№ 2
Королькова П.В. Модификация жанра авторской волшебной сказки в современной чешской литературе. С. 71–78	№ 6
Птицын А.Н. Предприниматели из австро-венгерских земель в России (XIX – начало XX века). С. 83–90	№ 1
Сазонова Л.И. Средневековый мотив богородичного чуда в повести Н.В. Гоголя «Портрет». С. 79–87	№ 2
Сафонов А.А. Документация доверия: списки заемщиков из Манастира 1607–1610 годов. С. 40–48	№ 4
Стыкалин А.С. Пражская весна: проблемы изучения. Размышления по итогам конференции. С. 44–61	№ 3
Хартанович М.В. К истории черногорской коллекции из собраний музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. С. 104–106	№ 5
Хорев В.А. Польское литературоведение и критика начала XXI века о литературе ПНР (1945–1989). С. 62–74	№ 3
Якименко О.А. Чехов в венгерской театральной культуре. История и современность. С. 63–70	№ 6

ПУБЛИКАЦИИ

Бортникова А.В. Грамоты на магдебургское право городу Луцку XV–XVI веков. С. 88–104	№ 2
Михалев О.Ю. В поиске новой модели советско-польских отношений в конце 1980-х годов. С. 75–86	№ 3

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Анисимова Д.Ю. M. Ćudić. Danilo Kiš i moderna mađarska poezija. С. 114–117	№ 1
Белова О.В. Традиційная мастацкая культура беларусаў. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе; Т. 2. Віцебскае Падзвінне; Т. 3. Гродзенскае Панямонне; Т. 4. Брэсцкае Палессе. С. 102–105	№ 6

Валева Е.Л. До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства (Центральная и Юго-Восточная Европа первой трети XX в.). С. 83–86.....	№ 6
Гаркуша Л.М. Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. С. 80–82.....	№ 4
Герд Л.А. Ю. Константинова. Балканската политика на Гърция в края на XIX и началото на XX век. С. 115–117	№ 5
Досталь М.Ю. Учені Росії про Закарпаття: Из карпа-тознавчої спадщини. С. 86–88.....	№ 6
Дронов М.Ю. Národ – cirkev – štát. С. 120–121	№ 2
Каштанова О.С. В.Е. Туманин «Historia – moje žycie»: Научное наследие Ежи Топольского. С. 115–117.....	№ 2
Косик В.И. Р. Дамянова. Емоциите в културата на българското възраждане. С. 112–113.....	№ 1
Косик В.И. И. Жейнов. Документи от Архива на външната политика на Руската империя (1865–1877 г.). С. 95–96	№ 3
Косик В.И. Русское зарубежье в Болгарии: история и современность. С. 82–84.....	№ 4
Косик В.И. В. Штрайдман. Балканске успомене. С. 107–110.....	№ 5
Кривко Р.Н. Die grossen Lesemenäen des Mitropoliten Makarij. Uspenskij spisok. С. 109–115.....	№ 2
Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Kyrillische paraliturgische Lieder: Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. С. 117–119.....	№ 2
Макарова А.А. Slovník pomístních jmen v Čechách. С. 117–122	№ 1
Марьина В.В. А. Бобраков-Тимошкин. Проект «Чехословакия»: конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918–1938). С. 96–102.....	№ 3
Мельников Г.П. И.И. Свирида. Метаморфозы в пространстве культуры. С. 92–94.....	№ 6
Мельников Г.П. Художественные центры Австро-Венгрии. 1867–1918. С. 94–98.....	№ 6
Никифоров К.В. Н. Алексюн, Д. Бовуа, М.-Э. Дюкрё, Е. Клочовский, Г. Самсонович, П. Вандич. История Центрально-Восточной Европы. С. 98–106.....	№ 1
Парсаданова В.С. Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и на европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг. С. 92–94.....	№ 3
Петровская О.В. Российские и славянские исследования. Вып. 3. С. 106–112	№ 1
Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. С. Баић. Ружица Богослужбени језик у Српској православној цркви: прошлост, савремено стање, перспективе. Предговор Ксенија Кончаревић. С. 110–111.....	№ 6
Полчанинов Р. Русский Белград. С. 84–87.....	№ 4
Ржанникова О.А. Л.Э. Калнынь, Т.В. Попова. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации. С. 105–109.....	№ 6
Соколов С.В. Л.С. Клейн. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. С. 105–109	№ 2
Станков Н.Н. Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов XX века: Очерки истории. С. 102–108.....	№ 3
Стыкалин А.С. Э.Г. Задорожнюк. От крушения Пражской весны к триумфу «бархатной» революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии. Август 1968 – ноябрь 1989 г. С. 109–114	№ 3
Стыкалин А.С. Т. Мераи. 13 дней. Имре Надь и венгерская революция 1956 года. С. 79–83	№ 6
Тунин А.Е. Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. С. 89–92	№ 6
Хорев В.А. Польское искусство и литература. От символизма к авангарду. С. 99–101.....	№ 6
Ченцова В.Г. Δ. Σταματόπουλος. Το Βυζάντιο μετά το Έθνος. Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες. С. 112–114.....	№ 6

Чуркина И.В. М.Ю. Досталь. Как феникс из пепла. Отечественное славяноведение в период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. С. 87–91.....	№ 4
Шевченко К.В. P. Lozoviuk. Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige Volkskunde in Böhmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. С. 115–117.....	№ 3
Ямбаев М.Л. Р.П. Гришина. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX – начале XX века (бег трусцой по пересеченной местности). Серия «Человек на Балканах». С. 87–92.....	№ 3
Ямбаев М.Л. Д.О. Лабаури. Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии в 1894–1908 гг.: Идеология, программа, практика политической борьбы. С. 110–114.....	№ 5
Ямбаев М.Л. Э. Бордато, М. Талалай. Под чуждым небосводом. С. 117–119.....	№ 5

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Безпалько Б.А. Российско-украинская конференция «Украина и Россия: история и образ истории». С. 118–123.....	№ 3
Бодрова А.Г., Чепелевская Т.И. Международная конференция «X Славистические чтения памяти проф. Г.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова». С. 123–125.....	№ 1
Валева Е.Л. Конференция, посвященная двадцатой годовщине восточноевропейских революций 1989 года. С. 92–94.....	№ 4
Гришина Р.П. Конференция «Человек на Балканах глазами русских наблюдателей». С. 114–118.....	№ 6
Калнынь Л.Э. Круглый стол «Особенности сосуществования диалектной и кодифицированной форм языка в славяноязычной среде». С. 120–123.....	№ 5
Ржанникова О.А. Совецание-семинар преподавателей болгарского языка, болгарской литературы и культуры на филологическом факультете МГУ. С. 103–106.....	№ 4
Романова А.А. Переходы. Перемены. Превращения. А. ван Геннеп и проблемы современной балканистики. С. 124–126.....	№ 5
Семенова А.В. Конференция «Одежда в славянской культуре». С. 94–100.....	№ 4
Серапионова Е.П. Научная конференция «Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX века. К 65-летию Великой Победы». С. 118–119.....	№ 6
Серапионова Е.П. Российско-чешская комиссия историков и архивистов: очередное заседание в Москве. С. 106–107.....	№ 4
Созина Ю.А. Международная научная конференция «Славянский межкультурный диалог в восприятии русских и словенцев». С. 100–103.....	№ 4

ЮБИЛЕИ

Иванов Вяч. Вс. О замечательном лингвисте Андрее Анатольевиче Зализняке (к юбилею ученого). С. 108–110.....	№ 4
Серапионова Е.П. К юбилею Ритгы Петровны Гришиной. С. 124–125.....	№ 3
Старикова Н.Н. К юбилею Галины Яковлевны Ильиной. С. 126–127.....	№ 1
К юбилею Михаила Абрамовича Бирмана. С. 125–126.....	№ 3
К юбилею Владилена Николаевича Виноградова. С. 120–121.....	№ 6
К юбилею Ирины Степановны Достян. С. 111–112.....	№ 4

НЕКРОЛОГИ

Иванов С.А. Памяти Геннадия Григорьевича Литаврина (1925–2009). С. 122–126	№ 2
Макаров Н.А., Носов Б.В. Памяти Юлиуша Бардаха (1914–2010).	№ 4
Сазонова Л.И. Памяти Людольфа Мюллера (1917–2009). С. 126–127.....	№ 2
Стыкалин А.С. Памяти Эмиля Нидерхаузера (1923–2010). С. 115–116.....	№ 4
Хорев В.А. Памяти Базыля Бялокозовича (1932–2010). С. 114–115.....	№ 4
Публикации Института славяноведения РАН, 2005–2009. С. 117–126.....	№ 4

CONTENTS

ARTICLES

<i>Leskinen M.V.</i> (Moscow). Great Russians in the Russian Scientific Journalism (1840–1890).....	3
<i>Kerimova M.M.</i> (Moscow). M.N. Kharuzin's Ethnological Research (towards 150 th anniversary of the birthday).....	18
<i>Janyškova J.</i> (Brno). Linguistic Heritage of Vaclav Machek	27
<i>Ristich S.</i> (Beograd). The Derivational Process in the Lexical Development of Contemporary Serbian Language.....	33
From the Dictionary «Slavic Antiquites»	41

COMMUNICATIONS

<i>Wishniewsky G.</i> (Warsaw). M.A. Balakirev and F. Chopin	56
<i>Jakimenko O.A.</i> (St. Petersburg). Chekhov in Hungarian Theatric Culture. History and Present.....	63
<i>Korolkova P.V.</i> (Moscow). Modification of a Genre of Authors Magic Tale in Contemporary Czech Literature.....	71

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Stykalin A.S.</i> Т. Мераи. 13 дней. Имре Надь и венгерская революция 1956 года.....	79
<i>Valeva E.L.</i> До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства (Центральная и Юго-Восточная Европа первой трети XX в.).....	83
<i>Dostal M.Ju.</i> Учені Росії про Закарпаття: Із карпатознавчої спадщини	86
<i>Tunin A.E.</i> Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration.....	89
<i>Melnikov G.P.</i> И.И. Свирида. Метаморфозы в пространстве культуры	92
<i>Melnikov G.P.</i> Художественные центры Австро-Венгрии. 1867–1918.....	94
<i>Khorev V.A.</i> Польское искусство и литература. От символизма к авангарду.....	99
<i>Belova O.V.</i> Традиційная мастацкая культура беларусаў. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе; Т. 2. Віцебскае Падзвінне; Т. 3. Гродзенскае Панямонне; Т. 4. Брэсцкае Палессе.....	102
<i>Rzhannikova O.A.</i> Л.Э. Калнынь, Т.В. Попова. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации	105
<i>Pletneva A.A., Kravetskyj A.G.</i> Р.С. Баић. Богослужбни језик у Српској православној цркви: прошлост, савремено стање, перспективе.....	110
<i>Tchentsova V.G.</i> Δ. Σταματόπουλος. Το Βυζάντιο μετά το Έθνος. Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες	112

SCHOLARLY LIFE

<i>Grishina R.P.</i> Conference «A Man on Balkans as Seen by Russian Observers».....	115
<i>Serapionova E.P.</i> Scholarly Conference «Slavic World During Epoch of Wars and Conflicts of 20 th Century. 65 Years of the Great Victory»	119

ANNIVERSARIES

Towards the Anniversary of Vladilen Nikolaevich Vinogradov	121
Index of Articles and Materials Published in the Magazine in 2010	123

Сдано в набор 28.07.2010 Подписано в печать 24.09.2010 Формат бумаги 70 × 100^{1/16}
Цифровая печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отг. 3,2 тыс. Уч.-изд.л. 12,0 Бум.л. 4,0
Тираж 300 экз. Зак. 724

Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
E-mail: zhurslav@mail.ru
Оригинал-макет подготовлен АИЦ «Наука» РАН
Отпечатано в ППП «Типография “Наука”», 121099, Москва, Шубинский пер., 6

